

СЕРГЕЙ-ПРОКОФЬЕВ



ДНЕВНИК - 27

ATKINS

Сергей Прокофьев

ДНЕВНИК - 27

**«Синтаксис»
ПАРИЖ**

Обложка Олега Прокофьева

© Estate S.Prokofiev, 1990.
12 Eliot Vale, London SE3 OUW, England

ПРЕДИСЛОВИЕ

Машинописная копия ДНЕВНИКА-27 попала в мои руки после смерти моей матери, в январе 1989 года. Это редчайший и уникальный документ, в котором мой отец описывает свой визит в Советский Союз, в 1927 году с 19 января по 24 марта, в первый раз, с тех пор как он покинул его в 1918 году.

Эта поездка была очень важна, так как после нее начинаются его регулярные посещения СССР, завершившиеся окончательным переездом туда, в 1936 году.

Данный дневник отнюдь не единственный. В общем, Прокофьев регулярно вел дневники с детских лет почти до сорокалетнего возраста. Постепенно, они менялись по характеру и к 1920-ым годам становились менее подробными, уже написанные с характерной для него аббревиацией слов, с опусканием гласных. В этом отношении, будучи целиком отпечатан автором на машинке, ДНЕВНИК-27 составляет исключение. Запись от 25 февраля начинается так: "На этом месте прерывается мой сокращенный дневник и последующее пребывание восстановлено по записям Пташки (то есть моей матери – О.П.) и другим документам". Это означает, что подобный детальный дневник имелся в виду с самого начала поездки в Советский Союз и что этой поездке придавалось все время особенное значение. По всей вероятности, как только Прокофьев вернулся обратно в Париж, он сел за свою пишущую машинку

и начал печатать этот дневник в той самой форме, в которой он до нас и дошел, после более чем шестидесяти лет. Лишь небольшое количество поправок и маленьких вставок было сделано автором от руки.

Очевидно, что дневник не предназначался для публики. Более того, Прокофьев постарался, чтобы он не попал в СССР, по крайней мере при его жизни, несомненно с самого начала отдавая себе отчет о связанном с этим риском. В этом отношении, особенно показательна запись, сделанная им в последний день пребывания в Москве. Когда он проходит таможенный досмотр вывозимых им личных бумаг, которые хранились раньше у Мяскового, он с удовлетворением отмечает: "...дело кончилось вполне благополучно. Хуже было бы, если бы она (представительница таможни, О.П.) начала читать дневники (старые дневники, О.П.). Я как раз вспомнил, что там кое-где есть выражения, которые можно счесть контр-революционными."

Не забудем, что это было написано уже дома, в безопасности, в Париже. Прокофьев отлично понимал, где место всяким "контр-революционным" писаниям. В то же время, следует сразу подчеркнуть, что стиль дневника примечателен своей объективностью и полной непредвзятостью. Это не значит, что он не позволяет себе критических или даже саркастических замечаний, совсем нет, но подобные высказывания никогда не носят тенденциозного или преувеличенного характера. При этом, он вовсе не старается что-то скрыть — весь дневник отличается абсолютной искренностью, будь это описание охватившего его страха перед тем как он переезжает через советскую границу, или признание в неуверенности в себе во время его первого концертного выступления в Москве. Но описания подобных эмоций "объективизированы", то есть переданы как обычные факты жизни. Точно также, например, сообщает он и о "реве публики" в конце его первых концертов, реве превращающемся, в дальнейшем, в своего рода мерило степени успеха того или иного концерта. При этом, он совсем не опьяняется своим успехом у публики, который, по всей вероятности, был необычайным (и, несомненно, весьма лестным для него), а скорее как бы регистрирует: "Крики и аплодисменты достигли той же силы что и на концерте, где встречали меня".

Тем не менее, в этом, быть может одним из самых успеш-

ным артистических турне в карьере Прокофьева, были и более "темные пятна", когда ему пришлось соприкоснуться с более мрачными сторонами новой "революционной реальности". Это его безуспешные попытки помочь своему арестованному (по "дворянской статье") двоюродному брату, А.А.Раевскому, своеобразным "сквозным действием" проходящие через весь дневник. Его довольно настойчивым попыткам не было суждено увенчаться успехом, хотя все это стало очевидным уже позднее. Среди искренно желавших помочь был и Мейерхольд. Мейерхольд "выразил живейшее участие и воскликнул: Подождите, у меня есть приятели в ГПУ. Я им шепну словечко..."

Шепнул он или нет, неизвестно, но создается впечатление, что Мейерхольд явно преувеличил значение своих связей с "властями".

Некоторые детали советской жизни любопытным образом напоминают о нашем времени, будь то наличие экспериментального искусства, или возможность известной политической оппозиции (например, публичное выступление Троцкого), или те же кооперативные рестораны. Разница была в том, что все это в ту пору было на грани исчезновения и было еще связано с прошлым, а потому сохраняло более высокий уровень, по сравнению с теперешним.

Искусство же тогда находилось в состоянии известного расцвета. В правительстве было еще немало достаточно культурных людей, особенно по сравнению с теми кто пришел к ним на смену. Наконец, хотя Сталин был практически уже у власти, 1927-ой год был последним годом, в котором его руководство этого еще открыто не ощущалось.

Тем не менее, знакомый еще по США инженер, вернувшийся обратно в СССР и ставший директором небольшой фабрики, откровенно говорит Прокофьеву, что "работать невозможно, все лентяи, чиновники и формалисты, нужна частная инициатива, иначе дело совсем замерзает, уже не говоря о том, что ладить с коммунистами, которые все время контролируют и шпионят — чистое мучение"...

Учитывая, что Прокофьев слышал иногда от официальных лиц и противоположное (например, от Луначарского, предлагавшего ему возвратиться окончательно), нельзя не отметить, что Прокофьев хладнокровно наблюдает, регистрирует и, пока что, совсем не спешит с выводами, а иногда на повторные

намеки на переезд в СССР реагирует не без легкого раздражения, словом, явно не торопится принять каких-либо решений в этом плане. Вспомним, что даже пересечь границу было не так просто. Его дом был еще в Париже и должен был быть им еще целых девять лет. И, тем не менее, для Прокофьева это было первое концертное турне в России в качестве признанного мастера. Конечно, будучи профессиональным пианистом-виртуозом, он не видел в этом ничего необычного. Но, в отличие от прочих пианистов, исполняющих музыку других композиторов и как бы черпающих вдохновение и энергию в чужих произведениях, Прокофьев играл здесь свои собственные сочинения. Поэтому, от него ожидалось больше и с него спрашивалось строже. Но тут было не просто выражение двух сторон его музыкального гения. В действительности, в концертах им, в сущности, излучалась концентрированная энергия его новаторского, обновляющего творческого начала. Как образно выразился тогда поэт Георгий Оболдуев:

Гражданин Прокофьев душит
Наши пасквильные души:
Надо им помереть,
Чтоб потом жить и петь.

Естественно, затрачивая в своих выступлениях огромную энергию, Прокофьев в жизни, в быту мог проявлять известную сдержанность в выражении своих чувств, что, впрочем, не мешало открытости и прямоте проявления его характера. Где, как ему казалось, это было нужно для сбережения сил, он мог быть осторожным, даже дипломатичным, оставаясь же обычно человеком отзывчивым и отнюдь не мелочным.

Читая записи в дневнике, рассказывающие об отношении Прокофьева с другими людьми, подчас не дающих ему покоя и надоедающих ему со всякого рода просьбами о сотрудничестве, о деньгах или другого рода помощи, я не мог не вспомнить о некоторых мемуаристах и биографах Прокофьева, подчеркивающих якобы типичную для него "недоступность", "замкнутость" и даже "грубость". Конечно, он мог быть раздражен теми из них, кто проявлял чрезмерную назойливость, как например, со стороны неотступной и самоуверенной Чернецкой, с проектом балета, но и ей он все же уделяет внимание. Дело

происходило в предотъездной суете, в гостинице, в вечер отбытия в Ленинград:

“...чтение второй половины балета (т.е. сценария) происходило при самой ужаснейшей для Чернецкой обстановке... я видел, что это никуда не годится, между тем, в номере появились следующие посетители, все время звонил телефон, а Пташка отказывала какому-то интервьюеру, который опоздал против своего времени, словом ад для чтеца, Но Чернецкая с отчаянием продолжала читать, а я из приличия слушал ее, дивясь ее геройству”.

Несколько слов о литературном стиле Дневников.

Здесь можно сказать о Прокофьеве, что он еще принадлежал к тому поколению русской интеллигенции, что “умела писать добротным стилем”. Но если в своей музыке он мог считаться в годы молодости “левацким” композитором, то литературный стиль его дневников, в общем, скорее чеховский. Это бросается в глаза в ясности и простоте, в отсутствии всякой цветистости, сентиментальности или морализирования, а также и в тонком чувстве юмора, как в отдельных наблюдениях и в лаконичных характеристиках, так и в чисто комических ситуациях. Таков, хотя бы, в Одессе, эпизод с человеком, выдававшим себя на вокзале, в ресторане, за “личного секретаря Прокофьева”, словно взятый из рассказа Чехова.

И только один раз Прокофьев почувствовал себя не в состоянии выразить переполнявшие его эмоции, когда он приехал в Ленинград. Охватившие его воспоминания о Петербурге его юности были, видимо, так сильны, что единственные слова, которые он находил, описывая город, были “красиво”, “изумительно красиво”...

Но вот наступает последний день его пребывания в России. После описания поезда и не особенно сентиментального упоминания о провожающих его на перроне близких друзьях, он заканчивает так:

“Поезд тронулся. Был чудный, ясный мартовский день, с косыми лучами заходящего солнца”.

Известный американский дирижер и музыкальный критик, Роберт Крафт, писал об автобиографической книге Прокофьева, посвященной детским и юношеским годам, что “это несомненно лучшая из известных мне подобных книг, написанных композитором” и что Прокофьев “является писателем-

прозаиком удивительного мастерства”, чья книга “может выдержать сравнение с Набоковской “Speak, Memory”.

Предлагаемое нами издание не есть законченное литературное произведение, оно является только лишь дневником, не предназначавшимся для печати. Но его высокие литературные достоинства неоспоримы. В сочетании же с интереснейшим своим содержанием, как в историческом, так и в музыкальном отношении, Дневник составляет единственный в своем роде литературный документ в истории русской культуры XX века.

О.Прокофьев

1927

13 января, четверг.

Сегодня отъезд в Россию. Одновременно с этим ликвидация квартиры на rue Troyon. А потому – уборка, сдача инвентаря, укладка и толкотня. Даже волновались, боясь, что не кончим всего к отходу поезда. У одного из чемоданов, только что купленного, не оказалось ключей. Горчаков¹, хотя и скаут, не мог завязать по-человечески ни одного пакета, несмотря на то, что узлы, по его мнению, он делал специально скаутские. Под конец действительно пришлось порядочно спешить. По дороге завезли в издательство различные предметы: некоторые из остающихся чемоданов, картины и пр., и попали на вокзал за 10 мин до отхода поезда, когда там собралось уже порядочно народу: Боровские², Самойленки, Пайчадзе³ и т.д. Поезд страшно шикарный, синий, с золотой отделкой; я выбрал его нарочно, наперекор стихиям, дабы не жалели бедных уезжающих в страну большевиков. Ехать к пролетариям, так с Норд-экспрессом. Было много конфет, оказавшихся очень вкусными, и отъехали весело.

У Пташки⁴ и у меня было по отдельному купе, которые соединялись друг с другом. Тут бы и выспаться, но в полночь разбудили на немецкой границе. Осмотр вещей и паспортов, довольно поверхностный, но когда я заикнулся о большом багаже, немецкий чиновник заявил, что таких сундуков в багажном

вагоне нет, несмотря на то, что я отлично помнил, как их на моих глазах погрузили в него.

В дальнейшем так и оказалось, что добрый немец напугал, но его утверждение испортило настроение и сон.

14 января, пятница.

Утром Берлин. Вебер и Таня Раевская¹ на вокзале. Сашка опять не появился, представив уважительную причину — грипп, если не врет. Первым долгом пошли заказывать ключи для чемодана, купленного в суете без них. Иначе неудобно сдать на хранение, даже честным немцам. Затем вчетвером пили кофе в большом кафе на Унтер ден Линден. Потом делали покупки, главным образом подарки для России или поручения из нее, словом, то, что не успели купить в Париже. В отель Фюрстенгоф я пригласил завтракать ту же кампанию плюс жену Вебера. Затем были в издательстве² — надо было обсудить кучу мелких вопросов. Мой отчет за истекший 1926 год еще не готов, но, по-видимому, он не перевесит предыдущего. Видно, не каждый год скакать в семь крат, как это было с 1924 года на 1925. Продажа сочинений Стравинского падает, но это с толикой вознаграждается сильно поднявшейся тантьемой за исполнение их. Из издательства Пташка поехала на веберскую квартиру упражняться, а я пошел покупать стило Кучерявому³.

В 6.40 выехали в Ригу, провожаемые Веберами. Поели в вагоне-ресторане и сразу легли спать, замучавшись берлинской беготней и вероятно еще парижской.

15 января, суббота.

Утром Эйдкунен, бывшая русская граница, а теперь граница Германии с Литвой. Пересадка из специального вагона в обыкновенный. Холодно и зябко. Перед отъездом из Парижа я спешил сшить себе новое пальто, без меха — к общему ужасу. Но ведь в России я никогда не носил мехового, решил поэтому продолжить ту же линию.

Литовцы вежливы, спокойны и говорят по-русски, как будто не Литва, а Россия. Поезд еле тащится. В старые времена они ходили по этой линии иначе.

В вагон-ресторане меня окликнул Пиотровский — тенор, которой когда-то учился вместе со мной в консерватории. Он оказался литовцем и, за музыкальной бедностью Литвы, первым музыкантом в своем государстве. Поет он впрочем кажется недурно и для тенора очень музыкален. Первый организовал в Ковно оперу, и слава его не только распространилась по всей Литве, но и докатилась до других провинциальных столиц, вроде Ревеля и Риги. Сейчас он ехал выступать в Ригу, был мил, с удовольствием вспоминал Россию. Его пригласили опять в Ленинград, но он боится ехать: литовское правительство правит и переарестовало нескольких большевиков; видным литовцам поэтому не рекомендуется соваться в Россию, дабы не попасться в заложники.

День длинный и медленный. Поезд еле тащится. Всюду белый снег. Я спросил у Пиотровского, почему так ползет наш поезд. Он ответил философски:

— Видите ли, страна маленькая. Чем медленнее через нее ехать, тем больше она производит впечатление.

К тому же, поезд умудрился опоздать на пару часов. Поэтому приехали в Ригу в половине двенадцатого ночи. На вокзале встретили Маевский и два ангажировавших меня менеджера. Очень приятно было сесть в саночки; я не помню, когда в них ездил. Маевский разыгрывал первейшего друга со мной и чувствовал себя чем-то вроде хозяина, так как я попал в Ригу его стараниями. Компаньоны-менеджеры оказались добродушными латышами, кормили ужином и угощали водкой, поданной в чайнике. По субботам в Латвии спиртные напитки запрещены, чтобы не напивались к воскресенью.

16 января, воскресенье.

Утром интервью с тремя газетчиками, двумя латышскими и одним русским. К концу интервью спустилась также Пташка, очень интересная в голубом платье, и также отвечала на вопросы. Затем нас снимали на фоне Рижской оперы и на фоне нашей же собственной афиши. Леопардовое пальто Пташки выходило отличным пятном. Появился Шуберт, мой бывший товарищ по классу Есиповой. Он оказался латышом — и теперь преважным лицом в музыкальной Латвии, важнее Пио-

тровского, потому что Литва — дыра рядом с Ригой. Шуберт успел уже побывать в директорах рижской оперы, а теперь он инспектор консерватории. Я смотрел на него и покатывался со смеху: Павлушка, который любил сыграть в железку, кутнуть в ресторане и еще кое-что, и к которому никто не относился серьезно, — теперь безукоризненный инспектор в великолепной визитке, солидный и чуть-чуть важный. Даже мой смех он принял сдержанно. Впрочем, он остался довольно милым парнем.

Пошли гулять по городу, который, если не очень столичный, то не плох. Холодно, воздух пахнет свежим снегом, иногда с примесью навоза, ибо автомобилей здесь нет и ездят на лошадях, и этот составной запах приятно напоминает зимний Петербург из далекого прошлого. У меня память на запахи, и по ним иногда встают целые картины.

В 2 часа пришли обедать к Маевскому. Он опять себя чувствовал героем и другом чуть ли не с колыбели, хотя по существу в консерватории мы встречались мало, а после и вовсе не встречались. Кроме Шуберта, к Маевскому пришел Крейслер, приличный парень, с которым я был всегда в хороших отношениях и даже на ты еще со времен дирижерского класса. Удрал из России и потеряв там кажется порядочное состояние, он долгое время не мог пристроиться и даже одно время писал мне в Этталь¹, прося совета и содействия, но я тогда ничего не помог ему сделать, да к тому же, насколько я его помнил милым парнем, настолько и плохим дирижером. Теперь он женат на женщине гораздо старше себя и кажется более или менее устроен материально, но не артистически и не семейно. После обеда Пташка и я занимались, повторяя программу.

Увидел у Маевского портрет Мясковского². Мясковский не любил сниматься и до сих пор я знал всего один его портрет, где-то случайно щелкнутый Держановским³ и затем увеличенный, впрочем, очень приятный. Портрет, который показал мне Маевский, вероятно был вторым в жизни. Я изумился перемене: вид скучный, взгляд тяжелый; вместо пиджака какая-то куртка, застегнутая до подбородка. Надеюсь, что он снят просто в неудачный момент.

Вечером меня пригласили в оперу, на Майскую Ночь. Очень пикантно услышать Майскую Ночь по-латышски (вместе с полузабытой музыкой). Нахлынула масса юношеских воспоминаний о постановке этой оперы в консерватории, особенно во

время очаровательного I акта. Зато III акт неслеп и скучен: либретисту не удалось развязать завязки. Постановка вовсе не плоха и хоровые массы приятно оживлены. Объясняется это тем, что из России эмигрировало в Ригу немало отличных артистов. Это и подняло уровень здешнего театра. В антракте подходил директор — Рейтер, когда-то тоже ученик нашего дирижерского класса, но он был, кажется, младше меня и я его мало помню. Теперь это, по примеру Шуберта, тщательно одетый и тонирующий вершитель судеб латвийской музыки.

17 января, понедельник.

Ночью Пташка чувствовала себя нездоровой, плохо спала и будила меня. Утром заказали билеты в Москву. Днем упражнялись и старались не предаваться светской жизни на манер вчерашнего. В 8 часов вечера наш концерт в том же оперном театре, где я был вчера. Народу много, по мнению менеджеров — 1.400 человек, хотя тут же они прибавили, что около 300 мест они роздали даром.

Я играл чуть нервно. Где мое американское спокойствие, которое я считал приобретенным навсегда? 5-ая соната имела успех лишь весьма относительный, впрочем, я и не рассчитывал, что она понравится рижанам, поставил же ее на программу для того, чтобы прорепетировать перед Москвой. Последнее отделение занимали мои короткие пьесы с маршем из Апельсинов¹, гавотами и прочими удобоваримыми вещами. Успех был совершенно трескучий, с вызовами и бисами. Пташка спела две группы романсов, но голос ее звучал слабо, так как она сама чувствовала себя слабой. Успех средний, но ничего. После концерта в артистической довольно много народу.

18 января, вторник.

Утром получил гонорар и разменивал его на червонцы. Пришел еврей, только что приехавший из Москвы по пути в Америку, куда он направляется по поручению каких-то организаций, для установления музыкальной связи. Так, по крайней мере, он говорит. Другие говорят, что он врет и под при-

крытием культурных связей устраивает собственные делишки. Меня же он заинтересовал: едуци в Россию, хотел знать, что за типы оттуда выходят. А это тип совсем особый. Прежде всего вытащил свои документы и положил передо мной, чтобы я знал, кто он. Уж не потому ли, что врет? От меня он хотел, чтобы я дал карточку к директору рижской консерватории — Витолу¹, в благодарность за что обещал справиться у советского консула, как мне быть с багажем, ибо я хотел быть застрахованным от каких-либо придилок на границе. По его словам, консул обижен, что я сам не зашел.

Вечером пошли с Пташкой к А.Г. Жеребцовой-Андреевой², которая была чрезвычайно довольна нашим визитом и говорила без конца. Пташку за вчерашнее пение она хвалит, что несколько подняло ее настроение. От А.Г. вернулись в отель, собрали вещи и отправились на вокзал — ехать в Большевизию. Мелькали мысли: а не плюнуть ли на все это и не остаться ли? Неизвестно, вернешься ли оттуда или не отпустят. А тут есть целый ряд предложений концертов, и таким образом поездка в Латвию все равно не выйдет в пустую. Однако трусливые мысли были отброшены и мы явились на вокзал. Поезд отходил в половину первого ночи. Стоял страшный мороз. Приятно было увидеть русские вагоны, но это все были вагоны III класса, тускло внутри освещенные. Только где-то в конце был наш вагон II класса. I класса в советской России не существует и вообще классов нет: вагоны делятся на твердые и мягкие. Твердые вагоны сохранили зеленый цвет III класса, вагоны же I и II класса выкрашены в желтый цвет и называются мягкими.

Мы вошли в наш мягкий вагон. Было неудобно: холодно, сумрачно, на полу без ковриков, умывальник в нашем купе заколочен. Появились три менеджера (они втроем держали концертное бюро). Несмотря на поздний час, они приехали нас провожать. Всех других я просил не беспокоиться. Поезд тронулся и мы в довольно среднем настроении легли спать. Русский проводник постелил нам белье, но оно было грубое и диван жесткий.

19 января, среда.

Спали мало, так как рано утром границы, сначала латвийская, потом русская. Ввиду заколоченного умывальника, пришлось бегать умываться в общую уборную, но там вода настолько ледяная, что пальцы коченели. На латвийской границе таможенники ничего не смотрели, и мы пили кофе на вокзале. Опять приходили мысли: теперь последний момент, когда еще не поздно повернуть оглобли. Ну хорошо, пускай это очень стыдно, но в конце концов на это можно пойти, если вопрос идет чуть ли не о жизни.

Между тем, к нашему поезду прицепили какой-то крошечный служебный паровозик. Был дивный солнечный день без облачка. Мороз минус 12 Реомюра¹.

Так с этими рассуждениями мы сели в поезд и поехали в страшную СССРию. Переезд от латвийской границы до русской длился около часу. Мелькнул латвийский пограничный пост, затем засыпанная снегом канава, которая и есть граница, и поезд проехал под аркой, на которой написано "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Около рельс стоял русский солдат в матерчатой каске и длинной до пят шинели. Поезд остановился и принял солдата, который через минуту появился у нашего купе и отобрал паспорта.

Вскоре приехали в Себеж, русскую таможеню. Появился носильщик и забрал наши вещи. Когда их расположили на таможенном прилавке, я первым делом спросил, получена ли телеграмма об имевшем быть проезде Прокофьева. Телеграмма оказалась, и это сразу дало приятный тон осмотру багажа. Смотрели поверхностно, немножко перелистывали французские книги по музыке, которые я вез для Асафьева². Большой сундук и мешок для Персимфанса (с тростниками) шли прямо в Москву. Впрочем, заставляли подписать бумажку о том, сколько каких носильных вещей мы везем с собой, причем они не могли понять, что такое пижама, а Пташка, что такое ночная кофточка. Вообще же были вежливы, даже с еврейкой, у которой рядом с нами отобрали целый ряд вещей. У другой дамы отобрали детские туфли. Это огорчило Пташку и дало повод вспоминать Святослава³. После того как осмотр кончился, носильщик потащил наши вещи обратно в вагон. На стене написано, что за перенос вещей надлежит упла-

чивать — четвертак за штуку. Пташка советует прибавить на чай, но я лояльно возразил, что раз установлена такса, то в коммунистической стране сверх нее на чай не дают, — и не дал.

До отхода оставался час, был полдень, и мы отправились в вокзальный буфет завтракать. С любопытством рассматривали лиц, пришедших туда же, повидимому из числа служащих на станции в таможене и спрашивавших служебные обеды. У всех вид здоровый, спокойный, солидный, вежливый. Многие из простых стараются есть по возможности прилично, глупостей не говорят. После обеда я сунулся купить шоколаду, но он оказался в пять раз дороже, чем в довоенное время, и плохого качества. Впрочем, может быть дерут на пограничном вокзале. Вернулись в вагон и поезд отъехал.

Вокруг беспредельная снежная пелена. У самого полотна снег имеет вкусный вид, точно сбитые сливки. При поезде нет вагона-ресторана, поэтому на больших станциях бегали в буфет и покупали бутерброды. Достали кучу московских газет; несмотря на то, что станция была не особенно большая, у газетчика оказались все музыкальные и художественные журналы. Смотрел, что пишут по поводу моего приезда. Но пишут мало — в газетах главным образом речи политических лидеров. Впрочем, мелькнула заметка о том, что по поводу приезда Прокофьева организован комитет встречи, со включением в него Асафьева, в качестве представителя от Ленинграда. Я больше всего боюсь официальностей. Но хорошо, если будет Асафьев: он по крайней мере скажет, как надо себя держать.

20 января, четверг.

Проснулись рано. На улице еще темно и в купе тоже, так как сломался газ. Проводник принес свечку. К Москве подъехали как-то незаметно, кажется к Александровскому вокзалу, который имеет скорее доморощенный вид. В 7.30 утра, поезд, имея за спиной некоторое опоздание, неожиданно останавливается у деревянного перона. Пока мы кричали носильщика, которых мало, в вагон вошли Цейтлин¹ и Цуккер, а за ними Держановский. Цейтлин — председатель Персимфанса и главная его душа, а в прошлом — концертмейстер в оркестре Кусевицкого. Цуккер, как я узнал несколько позднее, дея-

тельный коммунист. В свое время он хотел быть певцом — и это связало его с музыкой. Затем он принял боевое участие во время советского переворота, а теперь состоит чем-то вроде секретаря при ВЦИКе и таким образом имеет возможность самым тесным образом касаться со всеми членами правительства. Он единственный человек в Персимфансе, не состоящий членом оркестра; должность его заключается в изготовлении программ, давании объяснений по радио во время концертов и, разумеется, проталкивании всяких дел Персимфанса сквозь правительство. Держановский как-будто изменился мало, похудел и стал меньше. На ногах валенки, и вообще все они одеты в необычайных шапках, тулупах и пр., словом та декорация, что так пугает приезжих иностранцев.

Восклицания, приветствия, "неужели Прокофьев приехал в Москву!" — и мы, пересечя скверный вокзалишко, попадаем в такси, ибо в Москве теперь не очень много, но все же есть таксомоторы. Стекла у автомобиля густо замерзли и потому совершенно не видно Москвы, по которой едем. Це-це (Цейтлин и Цуккер) наперебой и со страшной горячностью рассказывают про хлопоты по нашему приезду, ожидания, сомнения, волнения и пр. Он, между прочим, рассказывает, что это Литвинов² разрешил выдать нам советские паспорта, без отбирания нансеновских³. Конечно, преследовать меня не будут, но все же лучше, чтобы я поменьше пользовался последним.

Приехали в Метрополь. Метрополь еще с самого начала советской революции был захвачен под советские учреждения и под жилища для ответственных работников, но недавно было решено, что выгоднее перевести их в другие места, а это здание вновь превратить в гостиницу. Выселять однако всех сразу в перегруженную Москву было не так легко, и потому сейчас пока очистили и вновь отделали под гостиницу один этаж, который и поступил в аренду немцам, взявшимся вести отельное дело. В верхних же этажах остались еще ответственные работники и потому всюду была ужаснейшая грязь, за исключением, впрочем, нашего коридора, где отличный ковер, хорошая парикмахерская и вообще чистота. Наш номер выходил прямо на Театральную, ныне Свердловскую площадь. Вид из окон восхитительный. Сам номер безукоризненно чист, довольно просторен и с необычайно высокими потолками. Кровати — в углублении и отделены огромной зеленой плюшевой занавесью

почти до потолка. Но ванны нет и вода в кувшинах. Я заказал кофе для всех, которое принесли в стаканах с подстаканниками. Разговоров было масса, но важно было немедленно повернуться лицом к делу, так как завтра утром уже первая оркестровая репетиция. Первым делом надо было достать мне в номере инструмент; к моему первому московскому выступлению я хотел быть в форме. В России на инструменты голод: новых не выделывают или выделывают очень мало, а на выписку из-за границы не дают лицензий. Держановский предложил пройти в "Книгу" (нотно-музыкальный магазин, которым он заведывал), откуда я мог получить рояль.

Окончив кофе, отправились туда. На улицах довольно много народу. С одной стороны много меховых воротников, с другой — женщины в платках. Сколько писалось о том, что приезжие из-за границы поражены бедностью одежды у толпы. Однако не скажу, чтоб меня это поразило: быть может, от того, что слишком много об этом кричали, а может потому, что известный процент платков и тулупов всегда гулял по русским улицам, а следовательно не удивлял и теперь. Навстречу ехали огромные автобусы — гордость Москвы. Они в самом деле очень красивы и огромны, и, хотя заказаны в Англии, гораздо лучше по линии, чем лондонские.

Рояль в "Книге" не подошел — расколотый. Встретил там Лелю, которая секретарем у Держановского. Тут в первый раз бросился в глаза тот огромный промежуток, который я пробыл вне России: Леля так и осталась у меня в памяти толстой тринадцатилетней девочкой, а теперь это огромная дама. Очень милая встреча.

Отправились в другой магазин, кажется прежний Дидерихса, а после национализации — государственный. Там совсем новенькое пианино, довольно тугое, т.е. то, что мне надо. Я немедленно на нем остановился и в течение дня оно было мне прислано. Снова вышли на улицу. Холодно, мороз. Толпа спокойная, добродушная. Это ли те звери, которые ужаснули весь мир?

Был второй час и нам хотелось есть. Це-це указали нам на Большую Московскую гостиницу, недавно вновь отремонтированную, и мы отправились туда завтракать, а остальные — по своим делам. В Большой Московский огромный зал с маской стликов. Действительно видно, что все наново сделано;

чисто, но грубовато. В огромном зале мы были почти единственные: здесь во втором часу никто не ест. Едят позднее, часа в 3-4. А заполняется зал главным образом вечером. Россия — царство икры, но не тут-то было: в этом ресторане на свежую икру такие цены, что мы подумали, повертели карточку — и от икры отказались. Вообще на отдельные порции цены не ниже американских. Обеды по готовому меню начинаются позднее. Лакеи вежливы и берут на чай. Метр д'отель в смокинге оперся на скатерть ручкой с такими маникюренными ноготками, что от них пошло сияние на весь стол. Когда мы вышли из ресторана, захотелось чуть-чуть походить по Москве. Пока мы бегали за роялем, нас все время окружали Це-це и Держановский, немилосердно тараторившие; теперь интересно было пройти по Москве, по этому страшному городу, самостоятельно. Мы вышли на Тверскую, купили пирожных, так как ждали днем гостей, и вернулись в Метрополь. Гулять много не пришлось, так как с непривычки было очень холодно. Вскоре явился Цейтлин с интервьюером и фотографом. Пока интервьюер задавал вопросы, начали собираться гости. Все это люди, которых мне было страшно интересно увидеть, между тем, приведенный Цейтлиным интервьюер не отставал ни на шаг и выходило преглупо: я то отвечал ему на вопросы, то раздавался стук в дверь и я бежал открывать, — восклицания, объятия, входим назад в номер, — тут снова вопрос интервьюера, надо думать, чтобы не ответить глупости; новый стук в дверь и т.д. Появился Асафьев, потолстевший и поздоровевший; под пиджаком, вместо жилета, рубашки и воротничка, коричневая вязанная куртка, с вязанным воротником до подбородка: тепло и не надо заботиться о чистых воротничках. Затем Мясковский, который в конце концов мало изменился — не скажешь, что 10 лет его не видел, а рижская фотография соврала или была снята в тяжелый момент. Мясковский такой же утонченный, в нем тоже очарование. Быть может на лице появились чуть заметные морщинки, которые подчеркиваются, когда он устает, и исчезают, когда он, свежий, появляется с улицы. По-видимому, Мясковский нашел гораздо больше во мне перемены, чем я в нем. По крайней мере, первое время он долго рассматривал меня и все усмехался, дивясь вероятно тому, что я потолстел и полысел.

За Мясковским появился Сараджев⁴, немножко поседев-

ший, но эффектный и ставший похожим на Никиша. Кроме Сараджева — уже бывшие утром Держановский и Цуккер. Интервью, слава Богу, кончилось, а фотографа заставили снять всю группу. Так как в России пластинки дороги, а ему был приказ снять только заморского гостя, то в начале он как-будто заколебался, снимать не хотел, но когда Цуккер налетел на него и объяснил, что здесь собралось все что ни на есть знаменитости музыкальной Москвы, то он снял нас, и эта группа действительно понадобилась для нескольких газет.

Общий разговор не клеился, так как все были взволнованы и несколько смущены. Мясковский, Асафьев и Сараджев уткнулись в мои новинки, во Вторую симфонию, квинтет и увертюру для 17-ти инструментов.

— Но это совсем не так сложно, — восклицал Сараджев, рассматривая партитуру Второй симфонии: ему очень хотелось, чтобы симфония пошла у него, а не в Персимфансе. Большинство из присутствующих скоро убежало — все народ занятой, вырвавший минутку, чтобы меня повидать. Дольше всех оставался Асафьев и Цуккер. Асафьев, будучи куда-то приглашенным, не мог остаться обедать с нами, и после его ухода, Цуккер позвал нас в ресторан, на Пречистенский бульвар, где, по его словам, проще, вкуснее и дешевле, чем в Большой Московской.

Цуккер — активный и очень горячий коммунист. Всю дорогу он с увлечением объяснял благотворную работу своей партии. Выходило действительно очень интересно и в планетарных размерах. Очень интересно было увидеть огромное здание Коминтерна, нечто вроде банки с микробами, которые рассылаются отсюда по всему миру.

Ресторан, в который он нас провел, помещался в отдельном деревянном домике, построенном среди бульвара. Говорят, что летом столики выползают на улицу, и тогда вовсе мило. Цуккер тут же объясняет, что ресторан содержится компанией "бывших людей" из богатых купеческих и аристократических кругов. Действительно, сервируют очень милые, воспитанные дамы. По разговорам между кассиршей, буфетчицей, поварами (которым кричат вниз, в кухню, помещающуюся в подвальном этаже), видно, что это люди не простые.

Обед был необычайно вкусен: тут и рябчики, и изумительные сбитые сливки, и клюквенный морс, который мы вы-

пили по несколько больших стаканов — и вообще масса отменных и забытых было русских вещей. Цуккер ни за что не желал, чтобы мы платили.

После обеда расстаемся с ним, садимся в санки и по морозу возвращаемся домой. Ложась спать, открываем, что простыни из изумительного тонкого полотна, какого мы не видали ни в одном европейском или американском отеле. Наволочки и полотенца тоже первый сорт. Мы совершенно ошеломлены Москвой, но у меня в памяти крепко сидит напоминание о том, как тщательно следят большевики за показной стороной для иностранных гостей. Делимся впечатлениями шепотом. В микрофоны, привинченные под кроватями, о которых рассказывают в эмиграции, мы не верили, но между нашим номером и соседним есть запертая дверь, через которую можно отлично подслушивать, если кому-нибудь это нужно. Засыпаем усталые вдребзги.

21 января, пятница.

Встали в 8 ч половиной часов утра. Заехал Цуккер и повез нас в таксомоторе на репетицию в большой зал консерватории. В Москве таксомоторов не то чтобы много, но на нашей площади всегда стоит несколько. Все они фабрики Рено — кажется по случаю закупили во Франции целую партию.

Когда мы входили в артистический подъезд консерватории, я едва не поскользнулся на льду, которым были покрыты все сени.

— Смотрите, — сказал Цуккер, — это Райский¹ тут плакал по поводу вашего приезда и слезы его замерзли.

Райский — заведующий большим залом и директор Росфила, полугосударственного симфонического учреждения, с которым Персимфанс бешено конкурирует.

Когда мы подымались в зал по лестнице, Цуккер спросил:

— Слышите, играют из Трех Апельсинов?

Я решил, что мы опаздываем на репетицию и прибавили шагу, в то же время делясь с Цуккером, что они играют слишком медленно: необходимо им сказать, что темп должен быть живее. Но тут выяснилось, что это был туш. Оркестр устано-

вил сигнализацию и мой вход в зал приветствовался той вещью, которая у них имела больше всего успеха.

Доиграв марш, оркестр аплодирует. Я поднимаюсь на эстраду. Цейтлин произносит приветственную речь — радость меня видеть здесь в Москве. Я в панике от речей, потому что на них надо отвечать, однако сразу же решаюсь броситься головой в пропасть и держу ответ: радость быть снова в Москве и при том среди оркестра, который я считаю одним из лучших в мире. Аплодисменты, поклоны — и сразу приступаем к репетиции Третьего концерта. На этот раз волновался не я, а оркестр, что выражается главным образом в недержании темпа.

— Да не гоните же, товарищи, — кричит Цейтлин. — Что вы волнуетесь?

В общем репетицию ведет Цейтлин. Перед ним на пюпитре не партия первой скрипки, а партитура, в которую, впрочем, заглядывают и соседи. Иногда встает второй тромбон или третья валторна и говорит:

— Товарищи, здесь надо сделать то-то и то-то.

Репетиция, впрочем, идет хорошо и приятно. Оркестр уже дважды выступал с этой вещью, один раз аккомпанируя Фейнбергу², другой раз — совсем молодому пианисту Оборину. Но в этом был и минус, так как оба брали совсем другие темпы, чем я. Оборин еще туда-сюда, не очень уклонялся от моих темпов, но Фейнберг играл нервно и изломанно, выворачивая многое наизнанку. Какая уж тут изломанность в моем Третьем концерте!

Оркестр без дирижера возился конечно дольше, чем если бы был дирижер, но в других местах, например, дирижер будет биться над учением пассажей, над выделением голосов, здесь же народ добросовестный и ноты играют сами собой, честно, оттенки тоже соблюдают в точности, пассажей не учат, а если трудно, так просматривают дома. Зато какое-нибудь ритардандро, которое у дирижера войдет само собой, здесь заставляет завязнуть минут на 20, т.к. каждый замедляет по-своему. Таким местом оказалось, например, возвращение от последней вариации к повторению темы, где оркестр никак не мог прийти вместе со мной. Трудность усугублялась тем, что Фейнберг устраивал здесь ритардандро, которого в партитуре нет, а я вместо того делал акчелерандро, которого в партитуре тоже не было. Кажется, на тему этого ритардандро у Фейнберга была

схватка с Мясковским. Когда я впоследствии сказал Мясковскому, что ни о каком ритардандо здесь и подумать нельзя, он остался очень доволен и воскликнул:

— Вот это я припомню Фейнбергу!

А когда, чтобы его еще больше порадовать, я прибавил, что делаю здесь даже акчелерандо, то правоверный Мясковский рассердился.

— Ну, это уж пожалуй лишнее, — сказал он.

По окончании репетиции, Пташка, я и Цейтлин отправились в правление Персимфанса, здесь же в консерватории, этажем ниже. "Правление Персимфанса" — звучит важно, но это небольшая комнатка, которая одновременно служит жилищем Цейтлину и его жене, спавшими за занавеской. После репетиции сюда набилось мильон народу, стульев же было всего два, столов тоже два, оба заваленные бумагами, непрерывно трещал телефон, стоял гвалт — словно сумасшедший дом. Решив несколько мелких текущих вопросов, отправились с Цейтлиным завтракать в тот же ресторан на Пречистенском бульваре, куда водил вчера Цуккер.

После завтрака, вместе с Цейтлиным шли по улице и он показывал нам магазины в Охотном ряду, где мы покупали икру, сыр и масло. Икры масса, на различные цены, магазины набиты битком — прямо не дождешься своего череда. Мы ничего не понимали: где же голодная Москва? Впрочем, сегодня покупателей было гораздо больше нормального, ввиду праздников: дня смерти Ленина и воскресенья.

— Вот видите, — торжествовал Цейтлин, как у нас здесь хорошо! Слава Богу, что уехали из Парижа. В газетах пишут, что там прямо гробов нехватает.

Я изумился.

— Как гробов?

— Ну что вы, точно не из Парижа приехали. А инфлуэнца? Ведь в газетах пишут, что ежедневно столько умирает, что не знают, как хоронить.

В общем, в Москве также талантливо врут на Париж, как в Париже — на Москву. Отведя нас в Метрополь, Цейтлин продолжал захлебываться.

— Вот посмотрите на Большой театр. Его недавно заново облицевали. Так при этом до того заботились о художественной стороне дела, что не решились облицевать новыми камнями

ми, которые дисгармонировали бы с возрастом здания. Инженеры отправились на кладбище и отыскивали там надмогильные плиты соответствующего года — и теперь видите ли, как хорошо вышло?

— Правда, правда, — прибавил он, видя, что я с совершенно ошарашенным видом смотрю на него.

Расставшись с Цейтлиным, мы немного посидели в номере, отдыхая и удивляясь порядку и той жизни, которая бьет в Москве. Ввиду того что вечером мы ждали к себе Персимфанцев, выходили еще раз — сделать кое-какие покупки — ветчину, пирожные и пр. Были в огромном кооперативном магазине рядом с Большим театром. Всюду много покупателей, но большой порядок. На прилавках масса вкусных вещей, которые заворачивали в отличную бумагу, не жалея ее количества.

Вечером явилось все правление Персимфанса — пять человек. Рассуждали и пили чай с закусками. Держали они себя скромно и почти ничего не ели, вероятно из скромности. Обсуждались темпы Шута и сюиты из Апельсинов. Также надо было решить дни для Ленинграда. Персимфанс, разумеется, захватил себе все удобные даты и выходило, что попасть в Ленинград я мог не раньше, как через две недели. Обидятся. Но Це-це утверждают, что Хаис (ужасный, по их мнению, тип, который всем ворочает в Ленинграде) очень выгодно использовал для себя мое нежелание говорить о гонораре и назначил мне гонорар ниже, чем следовало; и что хуже всего, Хаис успел уже этим ткнуть многим в нос, хвастаясь, какое ловкое дельце он сварганил. Начали по этому поводу говорить о моих условиях с Персимфансом, но из-за позднего времени не успели. Не успели поговорить и о некоторых предложениях, уже поступивших из провинции. Да и рано еще говорить о провинции.

22 января, суббота.

Утром опять заехал Цуккер и мы отправились на репетицию. Учили сюиту из Шута. Играют ее почти полностью, за выпуском только двух номеров. По-моему, это длинно, лучше номеров восемь, но Цейтлин не сдается и хочет играть все десять. У оркестра хорошая, уравновешенная звучность: соотношение силы звучности инструментов как раз то, которое я хочу, а ес-

ли не совсем то, то после первого же замечания становится на место. Противники Персимфанса говорят, что без дирижера они не могут взять ни одного аккорда вместе, — все аккорды, как у пьяного гусара, арпеджиато. Пускай; зато каждый оркестровый музыкант честно играет все ноты, а потому все звучит и все выходит именно так, как хотел композитор. Не то что, когда играют отвратительные наемники, которые только делают вид, что дуют в свой инструмент, а на самом же деле пропускают половину нот, играя хорошо только то, что выделяется, и чего нельзя не сыграть. А как только дело касается аккомпанемента и средних голосов, которые можно услышать, но можно и не услышать, — так сейчас же начинают мазать. Само собой пьеса начинает звучать гораздо хуже и совсем не так, как ее оркестровал композитор.

На репетицию пришел Фейнберг. Зная, что он исполняет уже мой Третий концерт и теперь пришел ревнивым ухом слушать, как я его играю, я несколько волновался, репетируя этот концерт.

По окончании репетиции, Пташка и я, в сопровождении Це-це, отправились в тот же ресторан на Пречистенку, но ввиду праздника он был закрыт. Поэтому повернули оглобли и вернулись к нам в Метрополь. В Метрополе еще нет ресторана, дают только чай и кофе, но у нас были кое-какие закуски и таким образом был организован легкий завтрак, во время которого мы обсуждали ленинградские даты и возможность согласовать их с московскими. Во время этого разговора позвонил Луначарский¹, приветствуя мой приезд и приглашая зайти к нему сегодня в 7 час. Благодаря его за приглашение, я сказал, что сегодня обедаю в 5 час. у друзей, а потому нельзя ли мне прийти не в 7 час., а в 8. Луначарский нашел, что это для него вполне удобно, на этом разговор кончился.

Вскоре приехал Асафьев и мы с ним отправились к Мясковскому в Денежный пер. Он живет в большом доме, однакю выходящем не на улицу, а в небольшой садик или дворик, а потому спокойном. Квартира была, по-видимому, хорошая, но, как и во всех квартирах в Москве, теперь жило в ней несколько семей. Сам Мясковский занимал одну лишь комнату, к которой примыкала другая, занятая его сестрой, Валентиной Яковлевной, с дочкой. Комната Мяковского — узкая и длинная, впрочем, довольно большая, но так заставлена мебелью,

что в ней трудно повернуться. Еще бы: кровать, умывальник, рояль, большой письменный стол, несколько шкапов и полка с нотами! Мясковский уж и так говорит, что то он подвинет рояль — тогда стул перед роялем упрется в письменный стол; то он подвинет стол — стул упрется в рояль. Так он и двигает, в зависимости от того, что ему нужно.

Мы застали Мяковского за корректурой Седьмой симфонии. Я, разумеется, чрезвычайно интересовался моим чемоданом с рукописными нотами, письмами и дневниками, во время революции отданным на сохранение Кусевицкому, затем попавшим в Музсектор, а оттуда к Мяковскому. Из переписки с Мяковским я никак не мог выяснить, подвергся ли этот чемодан вскрытию, и очень боялся, как бы его не распотрошили. К моей большой радости, он оказался в совершенном порядке и даже те пачки дневников, которые были запечатаны, не были вскрыты. А ведь во время революции, переписей и обысков могло случиться всякое.

Я спросил Мяковского, как мне быть с Юргенсоном². Дело в том, что издательская собственность Юргенсона теперь вся национализирована, но эта национализация имела, разумеется, силу только в пределах России. Таким образом, представлялась возможность, чтобы он продал мне обратно мои права для заграницы, так что все мои некогда уступленные ему сочинения, могли попасть к Гутхейлю. Мяковский ответил, что это задача очень деликатная, так как если здесь узнают, что Юргенсон торгует своими заграничными правами, его посадят в тюрьму, а потому дело можно обделать только потихоньку или же в том случае, если сам Юргенсон пожелает поговорить конфиденциально.

Втроем, Мяковский, Асафьев и я вышли на улицу и пошли к Держановскому, до которого было недалеко и к которому мы все были приглашены обедать к 5 часам. Я рассказывал про Сувчинского³, как он живет, на ком женат, чем занимается и что такое Евразийство, умолкая, когда попадались встречные, ибо тема была нелегальная, да и Асафьев отметил, что письма к Сувчинскому и от Сувчинского по-видимому пропадают. Впрочем, переулки, которыми мы шли, были довольно пустынно и поэтому разговаривать можно было свободно.

Когда я остановился после точки, Мяковский критически посмотрел на меня и сказал:

— Ну ничего, вы кажется не забыли русского языка.

Я форменно смутился и даже рассердился:

— А почему мне собственно надо было его забыть?

Мясковский:

— Вот когда я был в Вене и встретил Сашеньку Черепнина⁴, то он заковылял такими галлицизмами, что я его едва понимал, — и в подтверждение своих слов, Мясковский привел несколько галлицизмов действительно забавных.

Не скрою, что после этого я следил за своей речью и говорил запинаясь.

У Держановского мы нашли Пташку — за нею ездил хозяин, который уже кажется начал за нею ухаживать. Едва мы кончили обедать, как явился Цуккер и увез ее в Большой театр на Садко⁵. Я обещал подъехать позднее, если меня не задержит наркомпрос. Познакомился с мужем Лели, довольно милым и скорее тихим молодым человеком, меньше ее размерами и кажется у нее под сапогом.

После обеда, в восьмом часу вечера, Мясковский, Асафьев и я вместе отправились по тем же тихим и морозным переулкам к Денежному 7, где жил Мясковский. Луначарский жил несколькими домами дальше, и Асафьев, который у него уже бывал, взялся меня проводить не только до дому, но и до самой двери. Дом большой и по-видимому когда-то очень хороший, но сейчас лестница, по которой мы лезли в верхний этаж, грязная и отвратительная. Лифт не действует.

Я позвонил, а Асафьев пошел вниз. Отворила дверь кухарка, и, спросив мою фамилию, пошла доложить, затем попросила зайти в гостинную, огромную комнату, довольно комфортабельно меблированную. В соседнюю столовую дверь была приоткрыта и там кто-то читал стихи.

Через несколько минут толстая кухарка появилась опять и попросила меня войти в столовую. Навстречу появился Луначарский, как всегда очень любезный, несколько обрюзгший, по сравнению с 1918 годом.

За большим столом сидело человек пятнадцать. Некоторые поднялись мне навстречу, но чтение стихов не было еще окончено и Луначарский, жестом наведя тишину и предложив мне сесть, попросил поэта продолжать.

Фамилия поэта была Уткин⁶ и читал он еще довольно долго. Разумеется, только что попав в СССР, да еще к наркомпро-

су, я ждал от стихов прежде всего какой-нибудь революционности. Но стихи по мысли и сюжету были довольно дряблые: это был скорее декаданс в его основном смысле, чем стихи бодро восставшего пролетариата. Уткин кончил. Меня знакомят со всеми, среди которых несколько полузабытых лиц из артистического мира дореволюционного времени. Жена Луначарского, или вернее, одна из последних жен, — красивая женщина, если на нее смотреть спереди, но гораздо менее красивая, если смотреть на ее хищный профиль. Она артистка и фамилия ее — Розанель.

Переходим в гостинную. Ко мне подходят какие-то молодые люди и засыпают меня комплиментами. Больше всех говорит сам Луначарский, который не дает открыть рта своему собеседнику. Он сообщает мне приятную новость: весной в Париже предвидится международное состязание театров разных стран. Четыре страны, в том числе СССР, уже выразили согласие, и в качестве боевика пошлют туда Любовь к Трем Апельсинам. Это еще окончательно не решено, но дело на мази. Несколько молодых поэтов и музыкантов, обступают меня, говорят о моих сочинениях и просят сыграть. Я сажусь за рояль среднего качества и играю марш из Апельсинов. Затем Луначарский просит одного из присутствующих пианистов сыграть финал из своей Второй сонаты, которую он называет своей любимой вещью. Пианист играет довольно неважно. От рояля переходим в другую, малую гостинную, обставленную не без уюта. Луначарский вытаскивает первый номер Лефа — новый журнал, издаваемый Маяковским. ЛЕФ — означает левый фронт. Луначарский объясняет, что Маяковский считает меня типичным представителем Лефа.

— Тем полезнее вам послушать, — прибавляет он, — обращение Маяковского, помещенное в этом номере.

Затем Луначарский не без увлечения и очень не плохо читает письмо в стихах Маяковского Горькому. Письмо в самом деле остро, а некоторые формулы в стихах просто хороша. Идея: почему, мол, Алексей Максимович, когда столько работы в России, вы проживаете где-то в Италии? Весьма назидательно по отношению ко мне, и Луначарский, окончив чтение, смеясь, рекомендует мне оценить это стихотворение. Я его спрашиваю, какое положение в литературном мире занимает Маяковский. Он отвечает, что очень хорошее, хотя неко-

торые и не прочь просунуть трость в клетку и подразнить Лефа. Я еще разговариваю немного с Розанель и в 9 часов прощаюсь, говоря, что хочу еще поспеть в Большой театр. Все провожают меня в переднюю, а один юноша, ученик Яворского, провожает до театра на извозчике.

— Мы вас ревнуем к загранице, — говорит он пока мы едем в санках по переулкам. Но на улице невероятный мороз. Я стараюсь ему отвечать, но больше забочусь о спасении моих ушей от отмораживания, ибо мое осеннее парижское пальто без мехового воротника.

В Большом театре меня проводят в ложу бель-этажа, занимаемую Пташкой и Цуккером. Эта ложа рядом с центральной — царской и резервируется обыкновенно для дирекций. Большой театр полон, но публика по типу одежды чрезвычайно серая. Я наслаждаюсь картиной отплытия Садка: музыка изумительная, хотя сценически многое в этой картине нелепо. Зато куски подводной фантастики, которые в свое время вероятно были откровениями, теперь увяли и превратились в скучные пространства с малым количеством чистой музыкаи.

В нашу ложу во время антрактов, а иногда и во время действия, забегают дирижеры театра: Голованов⁷, затем Пазовский, и говорят о постановке Апельсинов, которая по-видимому состоится в Большом театре в конце сезона. Дирижировать ими будет Голованов, и он просит, как только слынут мои первые концерты, например, через неделю, проиграть ему оперу, дабы указать темпы и авторские пожелания. Разговаривая затем с Пазовским, я не мог отделаться от воспоминания одной фразы Канкаровича⁸, написанной чуть ли не 15 лет тому назад. Только что сделавшись в то время музыкальным критиком и изругав мой Первый концерт, он, в подтверждение своих слов, прибавил к своей рецензии следующую фразу:

— Это какой-то бег дурашкина, сказал сидевший рядом со мной дирижер Пазовский.

Кто такой был дирижер Пазовский, я так и не знал до сегодняшнего дня, но теперь, когда он любезно со мной разговаривал, у меня этот бег дурашкина все время вертелся в голове.

23 января, воскресенье.

Все утро опять ушло на репетицию, во время которой я довольно часто останавливал оркестр, делая указания относительно темпов и соотношения звучности.

На репетицию пришел Глиэр¹, мой старый учитель, с которым до сих пор сохранилась та же форма обращения, как 25 лет тому назад, когда я был ребенком, то есть я ему говорю вы и Рейнгольд Морицович, а он мне ты и Сережа. Глиэр — толстый и солидный, бритый, немного лоснящийся сытый кот. Несмотря на шестой десяток, много говорит о своих занятиях над фортепьянной техникой и о том, что он нашел теперь изумительную систему, в которой открыто влияние спинных мышц на каждый из пальцев (он показал мне на моей спине, который влияет на какой). Таким образом, он за последнее время делает большие успехи. Он путешествовал по России с певицей, аккомпанируя ей наизусть целые вечера из своих романсов, и теперь надеется проделать то же по Германии. В таком случае, бедные немцы, а также бедный Глиэр. Я ему рассказал про Дукельского², тоже его ученика, и о том, что иногда гуляя с последним, мы развлекались напеванием тем из 1-ой и 2-ой симфонии — воспоминаний нашей юности.

Затем меня потребовали на эстраду, так как сегодня учили главным образом вариации и финал Третьего концерта.

Днем отдыхал, от всей московской сутолоки уже чувствуется утомление, а ведь это только начало.

Отдохнув, поехал смотреть рояль Бехштейна для завтрашнего концерта. Несмотря на рояльную бедность в советской России, Бехштейн оказался превосходным, но, чтобы получить его, Цейтлину пришлось выдержать с управлением консерватории, которой принадлежал этот рояль и которое берегло его, как зеницу ока, целое сражение. Райский и Игумнов³ не хотели его давать. Райский — пускай, но ведь Игумнов считается моим поклонником? В конце концов, Цейтлину удалось их уломать и рояль согласились дать кажется за 50 рублей с концерта.

Тем временем мы с Пташкой отправились к Наде Раевской на Арбат 5. Раз Шурик сидит в тюрьме за политическую неблагонадежность⁴, то и наш визит в Наде казался нам каким-то полулегальным. А вдруг к нам вообще приставлен сыщик,

который едет за нами на другом извозчике? А вдруг сыщик дежурит у ее ворот, зная, что это мои родственники и желая проверить, имею ли я сношения с контрреволюционными элементами? Словом, мы подъехали не к самому дому, а затем быстро шмыгнули в ворота. Впрочем, Пташкина леопардовая шуба так бросалась в глаза, что нас не трудно было запомнить. Знакомые припоминали только одну еще такую шубу во всей Москве — у Неждановой.

Раевские занимают квартиру из маленьких четырех комнат в нижнем этаже во дворе и разумеется с грязных ходом. В квартире нас встретила Катюша Уварова, которую я помнил хорошенькой пятнадцатилетней девочкой, а теперь оказавшейся здоровой, но погрубевшей барышней, лет под 30. Она радостно приветствовала меня, а когда я ее познакомил с Пташкой, то, полагая, что Пташка не говорит по-русски, протянула ей руку и сказал: "шармэ". Я чуть не расхохотался, вспомнив бабуленьку из Игрока и объяснить, что моя жена говорит по-русски, как русская. Нади не было дома, но вылезли три ее дочери, от трех до двенадцати лет — заморыши, милые, но некрасивые и гораздо меньшего роста, чем полагалось бы их возрасту. Я быстро и вполголоса стал объяснять Кате Уваровой, что мы подождать Надю не можем, так как очень торопимся, что мне очень хочется выписать тетю Катю и Катю Игнатьеву из Пензы, что у меня для этого есть деньги, что если у меня налажаются отношения с властями, то я намерен предпринять шаги к освобождению Шурика, но что с этим не надо торопиться, — словом поспешил сразу выболтать все, что касается их семьи, имея в виду, что может быть нам неудобно будет часто сюда наведываться, а потому, чтобы сразу поставить их в курс дела.

Прощаемся, и уходя сталкиваемся с входящей Надей. Ее бурная радость, хотя в тот момент мне показалось, что в этой бурности был элемент наигранности. Тяжелые годы наложили на нее отпечаток, и она как-то странно была похожа на императрицу Александру Федоровну. Шурик мужественно отсиживает свое тюремное заключение — 10 лет, сокращенное на треть. В тюрьме сидят всякие, есть и жулики, есть и политические. Последние более или менее его круга и держатся в тюрьме вместе. В тюрьме Шурик занимается сапожным ремеслом, а также играет на фортепиано (на контрабасе?) во время кинематографа. Я спешу объяснить Наде то, что я уже сказал Кате

Уваровой, но останавливаюсь, так как в квартиру входит мужчина, одетый мужиком, в валенках и шапке с наушниками. Этот наряд резко контрастирует с его очень тонким и красивым лицом с легкой проседью в бороде. Видя мое замешательство, Надя говорит:

— Ничего, это муж моей сестры, Лопухин. При нем можно разговаривать о всем.

Мы скоро прощаемся и вторично уходим, так как надо спешить к Держановским: Мадам Держановская справляет сегодня пятидесятилетие со дня своего рождения. Это очень храбро для женщины — справлять свой пятидесятилетний юбилей, хотя злые языки и говорят, что она это делает для того, чтобы не думали, будто ей шестьдесят.

У Держановских — Мясковский, Асафьев, Александров⁵, Фейнберг, Половинкин, Книппер, Крюков, Мосолов⁶, и еще кто-то. Все это молодежь, в которой я пока не могу разобраться. Почти все они ученики Мяковского и, разумеется, под его обаянием. Фейнберга я выучил сразу — он лицом ни на кого не похож. Но спокойного и непримечательного Александра никак не мог запомнить. Из младших, кажется, наиболее талантливый Мосолов, сочиняющий сложные вещи. Он недурен собой, но жена некрасива и выглядит старше его. Однако она кажется довольно примечательная пианистка, хотя бы потому, что дала концерт из современных сонат, да каких! — и Мяковский, и я, и муж, и Скрябин последнего периода, и еще какие-то подобные шестизатяжности.

Несколько позднее просят Фейнберга сыграть; он исполняет свои "Импровизации", вещи сложные и бессодержательные. Играет он невероятно: страшно переживает, сопит, перегибается, как-то вытягивает из себя каждую ноту, словом, не играет, а страдает. И становится неловко, что вытащили его на эту пытку. Затем просят играть меня. Я играю, разумеется, Пятую сонату. Уж если не здесь ее играть, то где же? Слушают молча, очень внимательно; впечатлений не высказывают. Просят сыграть еще что-нибудь — играю Третью и вхожу в соседнюю комнату, где сидит Асафьев. Асафьев сообщает, что я ее играю совсем иначе, чем в 1918 году перед отъездом в Америку и что даже благодаря этому он кому-то проспорил пари, так как я взял теперь иной темп, чем он утверждал. Тут же он напоминает мне, что подход к побочной партии я играл раньше

лучше, стоя в басу точку перед ее началом. Я соглашаюсь с ним и обещаюсь впредь восстановить эту точку.

Леля и мадам Держановская накрывают ужин, пока мы сидим в комнате, называемой Цекубу, что означает — центральный комитет улучшения быта ученых. Держановским удалось сохранить за собой всю квартиру, уступив одну комнату кухарке. Что касается комнаты Цекубу, то она выходила лишней и в нее должны были кого-нибудь вселить. Удалось отстоять ее только через центральный комитет улучшения быта ученых, через посредство которого удалось доказать, что Держановскому необходимо погружаться в научно-музыкальную работу, для чего нужен отдельный кабинет.

Садимся за ужин. Я сижу между Мясковским и Асафьевым. У Мясковского в этом доме постоянное кресло рядом с хозяйкой, которое никто занимать не имеет права. Я потрясен, что он с Лелей на ты и говорю ей:

— Как это вы умудрились совратить Колечку?

Действительно, это вероятно первая женщина, с которой он на ты.

Молодые композиторы всячески ухаживают за Пташкой, но больше всех старается сам Держановский. Во второй половине ужина появляется даже шампанское — предмет роскоши в советской России, но мы удираем до конца, ввиду завтрашней генеральной репетиции и моего первого московского концерта.

24 января, понедельник.

Как-никак, а вчера попали домой довольно поздно. Встать однако пришлось в 8 час., а в 9 уже началась генеральная репетиция. Голованов сидит с партитурой сюиты "Шута" и отмечает в ней карандашом указания, которые я делаю Персимфансу. Персимфанцы, которые не считают его своим другом, язвят, что сам он не знает, как продирижировать Шута и поэтому записывает каждый такт. Когда я репетирую Третий концерт, в зал набивается довольно много народу, но толпа схлынула, как только я окончил. Обе сюиты, из Шута и из Апельсинов, идут хорошо, но все же лишняя репетиция не помешала бы.

Днем с Цейтлиным мы едем на таможню, так как не осмотренный на границе сундук, а также мешок с тростями для

духовых инструментов, застряли в московской таможне. Все духовые инструменты Персимфанса с волнением ждали этих тростей, так как их старые изнашивались и им приходилось дуть чорт знает во что, а новых в России не достать. Разумеется, Цейтлин запасся всеми необходимыми рекомендациями и протекициями, так что осмотра в сущности не было почти никакого: раскрыли сундук и развязали мешок только для проформы. Впрочем, увидав старую шелковую юбку, которую Пташка даже больше не носила, а везла в подарок бедным родственникам, сразу заинтересовались и даже накинулись, но увидав, какое это старье, пропустили. Завтракали в 3 часа одни, в Большой Московской. Собственно, неизвестно, завтрак это или обед — здесь часы все перепутались, да в Москве и едят-то главным образом среди дня, быть может из экономии, соединяя завтрак и обед воедино. За соседним столиком оказался Меклер, здешний импресарио, который раза два уже успел оставить мне записки, и Полякин¹, скрипач, в свое время вундеркинд в класса Ауэра², одновременно с девочкой Цецилией Ганзен³, но как то в свое время усохший и померкнувший перед ее ослепительными успехами. С тех пор Полякин успел побывать в Америке, приобрести там американское гражданство, но не успех, и теперь Меклер возил его по России. Они одним духом пересели к нашему столику и Меклер сразу накинулся на меня с предложениями. Однако, видя, что я отнекиваюсь и отношусь довольно равнодушно к провинции, он надел на Пташку, думая ее соблазнить, как певичку и рассказывая ей всякие концертные возможности. Чтобы поднять свои акции, он тут же упомянул о "мировом артисте" Маршексе, которого он тоже возил и будет возить по России. Мы хохочем и объясняем, что Маршекс просто-напросто третьестепенный пианист. Меклер не сдается и говорит:

— Помилуйте, это настоящий барин.

Я:

— Быть может он старается здесь изобразить из себя барина, но в Париже он голодранец.

Полякин вдруг захохотал и закричал:

— Голоштанник!

Но тут же покосился на Пташку и смутился. Мы с Пташкой кончили завтрак раньше их и когда спускались по лестнице, то Меклер бежал рядом и предлагал по 350 рублей за кон-

церт в провинции, в передней уже по 500, а когда я выходил на улицу, то по 1.500 для Москвы и даже два за 3.000. Надо сказать, что последняя сумма меня даже несколько смутила, но все же Меклер мне представляется каким-то жалким, и я, прощаясь с ним, попросил его позвонить дней через пять, когда сойдет угар первых концертов.

Вернувшись домой, несколько отдыхали перед концертом. Звонит Сережа Серебряков⁴. Пташка, не зная, кто он, отсылает его, говоря, что я перед концертом не подхожу, но затем сообщает, что он видимо был расстроен отказом. Тогда я звоню ему и прошу зайти за нами перед концертом, обещая провести его.

Отдохнув, одеваемся и едем в концерт. Большой зал консерватории полон и даже кое-где стоят, хотя это запрещено пожарным ведомством. В артистической встречает нас Морозов⁵, которому я очень рад, но как он изменился за эти 15 лет! Да 15 лет, и срок немалый. Теперь он сильно поседел и хотя нельзя сказать еще, что старичок, но уже перевалил за мужчину средних лет.

Концерт начинается сюитой из Шута, довольно длинной, так как играют 10 номеров. Мне отлично слышно из артистической, отделенной от эстрады тонкой, не плотной стенкой со щелями. Играет Персимфанс отлично, очень четко, ясно, с выражением, с увлечением. По окончании сюиты аплодисменты и крики "автора", но по предварительному уговору с Це-це решено, что на вызовы я выходить не буду, дабы не предвосхищать моего выхода к исполнению концерта. Впрочем, Цейтлин врывается в артистическую в такой подмазке, что он уже сам готов нарушить договор и спрашивает меня, не выйти ли мне. Пока аплодисменты продолжаются, мы совещаемся и решаем, что все-таки нет.

Перед тем как играть концерт, я начинаю волноваться. Работая и несколько успокаиваюсь. Как-никак, а появиться в Москве, где меня так ждут и где, самое ужасное, отлично знают мой концерт, который, стало быть, врать нельзя, дело не шуточное.

Наконец появляется Табаков, первый трубач (замечательный), и сообщает, что оркестр на месте и что мне надо выходить. При моем появлении оркестр играет туш, затем весь встает и аплодирует. Овация зала и оркестра становится гран-

диозной и необычайно длинной. Я долго стою, кланяюсь во все стороны и вообще не знаю, что делать, сажусь, но так как аплодисменты продолжают, опять встаю, опять кланяюсь и опять не знаю, что делать. Я не был 10 лет в Москве, мне хочется сосредоточиться, чтобы сыграть как следует, а эти эмоции совершенно не способствуют углублению. Наконец мне это надоедает и я решительно сажусь. Аплодисменты продолжают еще некоторое время, затем стихают. Цейтлин, стул которого находится как раз за моей спиной, шепчет, что надо посидеть пару минут спокойно, дабы и я, и оркестр, и публика, могли прийти в себя. Я стараюсь ни на кого не смотреть и утыкаюсь в фортепьяно. Минуты через три начинаем.

Я играю не спокойно, но довольно хорошо. Инцидент только один: в третьей вариации я что-то подпутал, сам не помню что, во всяком случае не серьезно и мы сейчас же вылезли на чистую дорогу. По окончании концерта зал ревет. Конечно такого успеха у меня не было нигде. Я выхожу без конца. На бис сначала играю гавот из Классической, затем токкату. Оба штюка выходят хорошо. Наконец уединяюсь в артистическую, а оркестр играет сюиту из Апельсинов. Марш по традиции бисируется, а по окончании новые вызовы и я еще выхожу несколько раз. Концерт окончен и артистическая набивается публикой. Одним из первых приходит Литвинов, ныне, ввиду длительного отсутствия за границей Чичерина, исполняющий обязанности министра иностранных дел. Вид у него несколько грузный, бритое лицо, тонкие губы, умное выражение, но в общем впечатление фармацевта средней руки, а с его грузностью как-то странно вяжется пришипленная к нему слава лихой экспроприации тифлисского банка. Но Литвинов важное лицо по отношению ко мне, ибо все паспорта, послабления и удобства моего приезда в СССР были сделаны через него. Он сам представляется мне и затем знакомит со своей женой — англичанкой⁶. Меня сейчас же перехватывают другие: Мясковский, Асафьев, Морозов, теперешний директор консерватории — Игумнов, бывший директор — Гольденвейзер⁷, с которым, впрочем, несколько фраз не о музыке, а о шахматах, Глизэр, Фейнберг, Александров и другие. Несколько отделившись, я считаю своей обязанностью подойти к Литвинову, который сидит на диване. При моем приближении он встает — как-никак, хоть и фармацевт, но все же дипломат, и не плохой. Я благодарю его за содейст-

ствие, знакомлю с Пташкой его и его жену. Англичанка страшно рада, что может говорить, с Пташкой по-английски. Но меня отрывает новая партия — приходит Голованов, Дикий⁸ и Рабинович⁹ — директор, режиссер и художник, которые будут ставить Апельсины в Большом театре. Я очень рад познакомиться с Рабиновичем, о котором слышал много хорошего от Сувчинского. Когда проектировался Урсиньоль¹⁰, то Дягилев колебался между Якуловым¹¹ и Рабиновичем. В артистической еще вертится Чернецкая, которая бывала у нас когда-то в Бельвю. Теперь у ней какие-то замечательные планы о новом балете, который она может сделать только со мной, для которого у нее такие идеи, которые перевернут весь балетный мир. Она готова тут же начать объяснять эти идеи, но меня рвут на части и слава Богу перевертывание балета откладывается. Понемногу артистическая пустеет и я остываю. Наконец вчетвером выходим на улицу: Пташка, я и Це-це, которые восторженно болтая, провожают нас до Метрополя.

25 января, вторник.

Первое утро без репетиций, следовательно почтили на лаврах и никуда не торопились. Завтракали с Асафьевым в ресторане на Пречистенском бульваре. Асафьев с увлечением рассказывал о своем летнем путешествии на дальний север, где много остатков старины и куда советское влияние хотя и проникло, но больше только внешне. Асафьев чрезвычайно понравился Пташке. На ее вопрос о существующем теперь брачном кодексе, он объяснил, что конечно все это не ладно, но все-таки быть может это был лучший способ, хоть как-нибудь попытаться защитить женщину после распущенности войны и революции. В подтверждение своих слов, он сказал, что теперь ощущается политика постепенного подтягивания.

Расставшись с Асафьевым, встретился с Цуккером и отправился с ним спрашивать заграничный паспорт. Так как процедура с выдачей заграничного паспорта тянется месяца и больше, то Це-це советовали немедленно заняться этим вопросом, дабы сразу обеспечить мне выезд. Паспортное отделение помещается в учреждении, подведомственном Наркоминделу, но, как объяснил мне Цуккер, на самом деле находится в веде-

нии ГПУ. Не без любопытства приехал я в этот филиал ГПУ. Нас принял тов. Гирин, молодой человек не без изящества, рыжеватый, резвый, хорошо одетый, напоминающий лицеиста, недавно попавшего в чиновники. Речь держал Цуккер, я стоял сзади. Цуккер прежде всего заговорил о Литвинове, через которого мне был устроен въезд и вообще постарался подчеркнуть мое привилегированное положение. Но Гирин улыбнулся:

— Вы могли бы не упоминать о тов. Литвинове и просто обратиться к нам.

Затем он взял опросный лист, который был уже мною заполнен и попросил заплатить 6 копеек. Я удивился скромности мзды, но Цуккер объяснил, что за два паспорта придется заплатить 200 долларов, если не удастся получить что-нибудь вроде фиктивной командировки, при которой налог сокращается вчетверо, а 6 копеек — это только предварительная плата за бумагу. Вся работа была сделана с быстротой и точностью. Провожая меня, Гирин сказал, что с интересом вчера слушал мой концерт по радио. Я в ответ похвалил порядок в его учреждении, выгодно отличавший его от бестолковой парижской префектуры, где приходится давать чаевые направо и налево, дабы поскорее протолкнуть паспорт. Гирин остался очень доволен и просил зайти через некоторое время.

Вечером, супруги Мострас¹, оба члены правления Персимфанса, устраивали нам маленький прием от имени всего правления Персимфанса. Были еще Це-це, Ямпольский¹ и др. Мострасы в свое время были людьми со средствами и занимали хорошую квартиру с громадными и очень высокими комнатами. С пришествием большевизма квартиру заселили, оставив им только одну комнату, положим самую большую. Затем нашли, что она слишком велика и перегородили ее пополам, а затем, еще раз пополам. В результате получилось нечто вроде узкого и длинного коридора с непомерно высоким потолком, и одним окном. Была очень вкусная закуска — икра и изумительная белорыбица, и токайское вино. Мне поднесли подарок — целый ряд персонажей из сказки про Шута, кустарной работы. Тут и шут, и купец, и козлуха, и пр. Цуккер принес фотографический аппарат и магний, и пытался нас снимать. Каждый раз, когда объектив был уже открыт и шнур у магния зажжен, Цуккер бросался в нашу группу, чтобы самому попасть на снимок. При этом происходило комическое ки про ко, так как

Цуккеру хотелось непременно стать рядом с Пташкой, а его товарищи, угадывая его намерения, устраивали так, чтобы он не мог попасть. Цуккер волновался и принимался за следующий снимок.

26 января, среда.

Проснулись оба вялые. Или нас замучали, или простудили, словом, надо сосредоточиться и над собою поработать.

Появился Держановский, худой, в валенках, с бороденкой и хитро глядящими глазенками из-под качающихся пенсне, — и предлагал пойти с ним выбрать фортепьяно для сегодняшнего вечера, но мне было лень и я поручил выбор его собственному таланту.

Днем явились Це-це, чтобы наконец поговорить о наших условиях, для которых все нехватало времени. Ругали Ленинградскую Филармонию и главного заправилу, Хаиса, который постарался выкатить мне самые невыгодные условия и еще хвастался этим. Что касается Персимфанса, то у них каждый член оркестра получает по 20 рублей за концерт, а если остается прибыл сверх этого, то она отчисляется в кассу. На мне они наживаться не хотят, и согласны, чтобы вся чистая прибыль за малым отчислением пошла в мою пользу. Но они обязаны представлять отчет о своих условиях с заграничными артистами, а такая формула не приемлема: надо выставить гонорар, причем этот гонорар должен быть в пределах известной нормы. Словом, они мне предлагали, чтобы, не выставляя слишком высокого гонорара, они мне заплатили за дорогу, за номер, суточные и вообще все, что можно придумать.

Мне еще в Париже Яворский¹ говорил, что очень важно дать один концерт в пользу чего-нибудь, и как только Цуккер слегка заикнулся в этом смысле, я сейчас же заявил, что один из моих клавирабендов я хочу дать в пользу беспризорных, что сразу произвело весьма приятное впечатление на Це-це.

По их уходе я продолжал чувствовать себя кислым и три раза засыпал.

Вечером заехал Держановский и мы отправились на закрытый концерт Ассоциации Современной Музыки, в которой ворочает Держановский. Об этом закрытом концерте "для

одних музыкантов и лиц искусства”, Держановский вел со мной переписку еще в Париже. Хотел он также, чтобы пела Пташка, но она ему ответила ни да, ни нет, а так как теперь нас успели затормозить в Москве, то голос был в среднем состоянии и потому решили, что лучше не петь, чем понижать от утомления.

Держановский страшно волновался и объяснял:

— В зале 300 мест, желающих 1.500, все обрывают телефон, не попадающие кричат — с вами только наживешь врагов!

Приехав на концерт, я встретил многих знакомых, в том числе Шуру Сеженскую, мою троюродную племянницу, которая так и осталась у меня в памяти шалуней-девочкой, а теперь оказалась дамой с проседью; также Костю Сеженского, ее двоюродного брата и мне троюродного племянника, с которым, впрочем, родства у меня нет, так как он приемный сын. Косте лет под 20, он уродец, очень нелепый, учится в консерватории и кажется потрясен, что у него такой знаменитый дядюшка.

Встретив Асафьева, рассказываю ему про козни Хаиса. Асафьев волнуется:

— Как патриот своего города, я возмущен. Надо с ним поговорить.

Держановский сообщает, что я могу идти в зал, так как концерт начинается с еврейской увертюры, после которой поет певица, а я играю только потом.

Зал не очень большой, но набит до отказа. Пока я иду через него, все аплодируют, когда я наконец сажусь на единственный оставленный мне стул в первом ряду, на эстраде появляется Сараджев и говорит мне речь. Я волнуюсь, но все же замечаю, что цитату о Гансе Заксе, ввернутую Сараджевым, он переврал. После окончания речи — вторая овация. Затем исполняют еврейскую увертюру, у фортепьяно — директор консерватории, Игумнов. Так как я сижу в первом ряду, то звук не сливается и я не получаю удовольствия от исполнения. По окончании увертюры, Игумнов спускается в зал, несколько человек пересаживаются, и он садится на освободившийся стул рядом со мной.

Игумнов довольно занятная личность, длинный, бритый, нервный, с торчащими изо рта остатками зубов. Мне интересно на него посмотреть, так как уже лет двадцать, как я про него слышу, еще с тех пор, как я гостил в Сухуме у Смецких³. За-

тем появляется певица, которая волнуясь поет мои романсы, — первые два плохо, третий довольно своеобразно.

Далее моя очередь. Я вылезая на эстраду, играю Третью и Пятую сонаты и токкату. Рояль крикливый и плохой: Держановский в выборе не отличился. Я играл со средним спокойствием, я в Третьей сонате совершенно непонятным образом замечтался и остановился. Впрочем, сейчас же спохватился и дальше дело пошло без ляпсусов. После аплодисментов сыграл на бис гавот оп. 32. После окончания, спускаюсь с эстрады, толкотня невероятная, все ко мне подходит: тут и Игумнов, и инспектор консерватории, вручающий мне книгу, в которой есть обо мне статья, и старый Юргенсон, когда-то громовержец, а теперь служащий небольшим чиновником в Музсекторе, который занимает его же собственный магазин. В толкотне Юргенсон успевает сказать мне, что он позвонит ко мне и зайдет, чтобы поговорить. Таким образом, вопрос, который Мясковский находил таким щекотливым, по-видимому сам собой идет к разрешению. Подходит Б.Б.Красин³. Он уже звонил ко мне, но подвернувшийся к телефону Цейтлин ответил, что меня нет дома. Красин связан с Росфилом, враждующим с Персимфансом, а потому Це-це всячески ограждали меня от него. Учитывая это и помня, что полтора года назад, Красин был со мной чрезвычайно любезен в Париже, я на этот раз встречаю его с подчеркнутой внимательностью. Появился снова Костя и Шура Сеженские. Пташка находит Костю трогательным, а Шуру противной, но Шура успевает обмолвиться, что у нее остались кое-какие фотографии моих родителей — и Пташка настораживается. Дело в том, что все мои семейные фотографии погибли вместе с петербургской квартирой и теперь Пташка задалась собрать у моих родственников и знакомых то, что у них сохранилось в альбомах. Я спрашиваю у Шуры, что случилось с другими моими московскими племянницами и племянниками. Как-никак, у отца была сестра, у нее четыре дочери, мои кузины, а у четырех этих кузин — несметное количество потомства, двоюродных братьев и сестер этой Шуры. Но Шура говорит, что они распались и она большинство из них потеряла из виду, чем я впрочем мало огорчен, так как в большинстве случаев это был народ довольно серый. Наиболее интересная из племянниц, Надя Фалеева, заделалась драматической артисткой и гастролирует где-то в провинции.

Публика начинает расходиться, так как надо пробираться в другое учреждение, где будет ужин. Одеваемся и идем в находящийся по соседству клуб — для улучшения быта ученых, как раз то самое Цекубу, благодаря которому Держановский сохранил любимую комнату. Это огромный особняк, принадлежавший старой одинокой генеральше, умершей с наступлением большевизма. Цуккер не выпускает случая, чтобы указать, что вот в старое время такую махину занимала одинокая старуха, которая может быть из комнаты в комнату не могла передвинуться, а теперь это достояние писателей и ученых, которые могут чествовать в нем Прокофьева.

В огромной зале поставлена целая серия длинных столов, на которых накрыт ужин. Я сижу между Асафьевым и Е.В. Держановской. Пташка — рядом с Мясковским. Тут же за столом Персимфансы, Яворский, кое-кто из молодых композиторов. Тосты, фотографии, Держановский старается сниматься около Лины Ивановны. Вообще, он, Мосолов и другая молодежь всячески за нею ухаживают. После нескольких тостов мне начинают намекать, что и я должен бы сказать что-нибудь. Я всячески отворачиваюсь, но чувствую, что говорить в конце концов надо, и потому встаю. В зале быстро водворяется тишина, возгласы удовлетворения "А" Словом, ждут от меня многого. Но за кого и за что пить? Я догадываюсь выпить за музыкальную Москву, которую особенно научился ценить после всех моих шатаний по белу свету. Пью, аплодируют, хотя по видимому ждали, что я скажу что-нибудь сложнее и цветистее. Позднее я перехожу к другому столу, за которым собрались все молодые композиторы, и к которому уже присоединились Мясковский, Асафьев и Беляев⁴. Нас снимают всех вместе и я выхожу невероятной рожей. Вообще же мне оказывается столько внимания, что я совершенно ошеломлен отношением ко мне. Сообщают, что в "Вечерней Москве" появилась первая рецензия, которая отмечает политическую важность моего приезда. В час ночи я вдребезги измучен и, хотя пиршество по видимому склонно продолжаться, мы с Пташкой решили бежать. Уходим под аплодисменты всего зала. Внизу меня ловит Костя Сеженский. Он оказывается тоже принял участие в ужине, но сидел где-то далеко за пальмой, так что я его не видел. Он по видимому опьянел от вина и от оваций по адресу дядюшки, и в нелепых и восторженных выражениях просит автограф на экземпляр третьей сонаты.

27 января, четверг.

Наш номер тихий и спокойный, и после вчерашних торжеств мы порядочно проспали. Звонил Цейтлин и сообщил, что они приступили к репетиции второй программы, в том числе увертюры для 17 инструментов. Я решаю однако эту репетицию проспять: пусть немножко разберутся без меня. На мой вопрос, какое впечатление производит увертюра, Цейтлин мялся и начинал хвалить другие вещи. Вероятно не разобрались еще, или не привыкли к новой звучности, или просто скрипач Цейтлин, которого в этой пьесе обошли, не чувствует себя особенно заинтересованным³.

Использовал остаток утра и часть дня на то, чтобы хорошенько поиграть на рояле. А то в самом деле, когда надо быть во всеоружии, тут как раз приходится заниматься всем чем угодно, кроме фортепьяно. Погода смягчилась. На улице мягко и приятно. Завтракали с Пташкой вдвоем. С изумлением рассматривали царские орлы на Иверских воротах. Говорят, что их оставили за невозможностью снять, не изуродовав здания, а кроме того "советская власть так сильна, что несколько орлов ее не поколеблят, хотя бы и в коронах"².

Давал интервью, а вечером с Пташкой отправились к Мясковскому, куда пришел также Асафьев. Так как соседнюю комнату с Мясковским занимает его сестра, Валентина Яковлевна, чрезвычайно милая, то я просил у него позволение привести с собою Пташку — к ней в гости. Кроме нас и Асафьева, была другая сестра Мяковского, Вера, со своим сужем, В.В. Яковлевым, но эта сестра много грубее Валентины и менее понимает Мяковского. Присутствовала еще шестнадцатилетняя дочь Валентины Яковлевны, казавшаяся мне мало симпатичной со своим круглым, несколько одутловатым лицом и неприятными манерами. Ее лицо мне странно воскресило в памяти облик ее отца, которого я видел всего лишь раз или два у Мяковского много лет тому назад, вероятно до рождения этой девицы. В те времена я однажды зашел к Мясковскому и нашел его расстроенным, а в доме говорили шопотом. Мяковский объяснил причины: застрелился муж Валентины. Я спросил почему. Мяковский ответил:

— Запутался в каких-то финансовых операциях.

Сегодняшний вечер прошел очень мило. Мужчины собра-

лись в комнате Мясковского, дамы сидели у Валентины Яковлевны. Говорили обо всем понемножку — и в общем ни о чем особенном.

Возвращались домой по мягкой погоде пешком. Я шел впереди с супругами Яковлевыми, Пташка — сзади с Асафьевым. После американских небоскребов и парижских, насаженных один на другой, домов, я любовался московскими переулками, из которых иные целиком состояли из просторных особнячков, тихих и уютных. Я высказал это Яковлеву, он ответил:

— Да, может быть так было раньше. Но теперь эти тихие особнячки укомплектованы до невозможности, а так как комнат много, кухня же одна, то эта кухня и является часто местом пересечения интересов всех семейств. И можно себе вообразить тот ад, который творится в кухне, в момент, когда восемнадцать семейств, населяющих этот тихий особнячок, готовят на восемнадцати примусах восемнадцать обедов.

Когда мы с Пташкой остались одни, она рассказала мне интересные вещи, которые происходили сегодня вечером на дамской половине в то время, когда я сидел на мужской. Оказывается, дочка Валентины Яковлевны яростная комсомолка, нахваталась коммунистических лозунгов и создает своей матери настоящий ад, не давая ей открыть рта и обрывая всякую ее фразу словами: "ну уж эти твои буржуазные теории". Своими грубыми рассуждениями она испортила Пташке весь вечер, хотя Пташка из осторожности и старалась поменьше ввязываться в разговор такого типа. Паралельно с этим девица живет на счет матери, маникюрит ногти и пропадает неизвестно где. Асафьев, идя с Пташкой по тихим переулкам, добавил, что она изводит не только Валентину Яковлевну, но и Мясковского, доводя его иногда до того, что он кричит на нее и топает ногами. При всем моем желании, я не мог вообразить себе Мясковского кричащим или топающим ногами. Но этому приходится верить, раз так рассказывает Асафьев, который вероятно узнал это от самого же Мясковского.

Вернувшись в Метрополь, мы с Пташкой возмущались и мысленно желали одутловатой племяннице скорее сбежать с каким-нибудь комсомольцем и тем очистить атмосферу.

28 января, пятница.

Утром приходил фотограф. Затем в течение дня я мало куда показывался: вечером первый клавирабэнд, а потому надо было сосредоточиться и подтянуться. Довольно много играл на рояле. В Известиях статья с моим портретом, имеющая не столько музыкальный, сколько политический вес.

Вечер клавирабэнд, в милом русском стиле начинается с опозданием на пол часа. Публика по-видимому знакома с этим обычаем и не спешит, заполняет зал медленно, но когда я вхожу, весь большой зал консерватории полон.

Первым номером идет Третья соната — это Сувчинский когда-то рекомендовал мне все концерты начинать с Третьей сонаты. Затем — десять Мимолетностей. Обе вещи встречаются с очень хорошим, но не с горячим приемом. Следующая затем Пятая соната встречается вовсе сдержанно, хотя группа, вероятно человек в 50, настойчиво аплодирует и кричит, вызывая без конца. Успех начался с марша из Трех Апельсинов, который был бисирован — публика сразу заревела и затем в том же градусе все последнее отделение, состоявшее из мелких вещей и кончившееся токкатой. Тут стоял крик и вой, каких я не слышал никогда. Бисы были следующие: вторая сказка, гавот из Классической и наконец пятая Причуда Мясковского. Дабы последнюю не приняли за мою собственную вещь, я объявил публике ее название и автора. Сказал я, по-моему, довольно громко, но потом мне доложили, что половина зала этого не слышала. Зная, что в зале Мясковский, и помня еще с давних времен, что он всегда недоволен тем, как его вещи исполняются, я очень волновался, играя Причуду; в первой половине немилосердно мазал и путал, но в медленной середине взял себя в руки и конец сыграл довольно прилично. Тем не менее крики и вой не уменьшались и за Причудой, которую большинство так и таки приняло за мою вещь, следовало еще много вызовов, хотя я больше не бисировал.

В артистической опять масса народу, в том числе жена Литвинова, говорившая с Пташкой по-английски. Сам великий аптекарь отсутствовал. Приходил также Юровский, стоящий во главе Государственного Музыкального Издательства. Он представился и сказал, что нам необходимо повидаться, дабы легализовать мои отношения с Государственным Издатель-

ством, которое печатает и продает мои сочинения. Юровский — господин не без шика, высокого роста, с гладко выбритым лицом и даже головою. Он был очень галантен и сказал, что как только у меня освободится время, он ко мне заедет или будет рад меня видеть у себя в Издательстве.

Вернувшись домой, я презирал себя за волнение. Это в конце концов совершенно глупо и нелепо, хотя я и работал над собой перед и во время концерта. А прошлой зимой, во время таких спокойных концертов в Америке, я думал, что этот призрак ушел от меня навсегда.

29 января, суббота.

Завтракали с Сережей Серебряковым в Большой Московской. Мне хотелось спросить его про обстоятельства, сопровождавшие аресту Шурика, дабы лучше ориентироваться в моих попытках вытащить его из тюрьмы. Впрочем, много нового я не узнал. Сережа Серебряков подтвердил, что Шурик ни в каких политических делах не повинен, а влип за компанию и отчасти от того, что при допросе не хотел назвать фамилии людей, которых это упоминание могло бы подвести. Удивительный человек этот Сережа Серебряков. Когда-то давно он был "красным" студентом и вечно бил тревогу по поводу предстоящих беспорядков, хотя в то время было еще далеко до революции 1905 года. Теперь ему 50 лет, но его алармистские приемы несколько не изменились, и сидя в Большой Московской он с таким же конспиративным видом спрашивал, правда ли, что у англичан уже готов план сбросить с аэропланов на Москву столько снарядов с удушливыми газами, чтобы одним ударом задушить весь город, ибо англичане якобы решили пожертвовать даже двухмиллионным населением, лишь бы отравить Кремль. В конце концов мы были рады, когда этот завтрак кончился, потому что хотя он и говорил о пустяках, но с таким видом и с таким нашептыванием, что казалось будто мы впрямь принимали участие в адском замысле англичан.

Днем заходила к нам старшая дочка Шурика, Алена, с письмом от матери. Милая девочка, ей 13 лет, но с трудом можно дать 10. Ясно, что Надя волновалась относительно моих шагов к освобождению Шурика, и хотя я не хотел за это брать-

ся слишком рано, прежде чем не осмотрюсь и не соображу, к кому лучше обратиться, все же я решил попробовать почву у Цуккера, который в конце концов будучи секретарем при ВЦИКе мог проделать эту вещь запросто и между прочим. В 7 часов он как раз явился для того, чтобы заполнить кое-какие бланки для заграничного паспорта. В связи с вопросом в бланке о моих родственниках, разговор естественным путем коснулся Шурика. Я спрашиваю его, не сможет ли он предпринять каких-либо шагов к освобождению моего кузена. Цуккер сначала смущается, потом советует взять справку у Нади о приговоре суда, именно: когда, за что, на сколько и т.д.

Затем Пташка, Цуккер и я отправляемся в МХАТ 2-ой, Московский Художественный Академический Театр №2. Дают "Блоху" Лескова в переделке Замятина и постановке Дикого. "Блоха" — один из сенсационных спектаклей и о нем нам уже говорили в Риге. Нас проводят в директорскую ложу, что у самой сцены. Там уже сидит какая-то фигура, но ее ликвидируют, переведя в партер. I акт начинается с карикатуры на императорский двор и на Александра I, причем это превращено в такую буффонаду, что мы с Пташкой только переглядывались.

— Правда, как здорово? — захлебывался от восторга Цуккер.

Мы в пределах деликатности и в меру горячо, поддакивали, хотя надо сказать, что фигуры некоторых камергеров были действительно схвачены не плохо. Вся суть в том, что мы в первый раз видели советскую постановку и поневоле наклеывался вопрос, неужели же все постановки выдержаны в этом стиле. Однако II акт, начавшийся тульскими частушками, сразу переменяет настроение. Частушки были прямо таки очаровательны, шум издали приближающихся казаков передан необычайно изобразительно и вообще вся постановка дальше шла на славу. Очень хорош был акт в Лондоне.

В антракте, в маленькой гостинной, примыкающей к нашей ложе, был сервирован чай с бутербродами и пирожными. Появился Дикий, который не только ставил эту пьесу, но и играл атамана Платова. Во время чая, разговоры о моих впечатлениях от постановки "Блохи", а также о будущем постановки Апельсинов в Большом театре, которая поручается Дикому. Мне также было вручено письмо от дирекции МХАТа, в котором приветствуется мой приезд. В общем, очень приятный и

ласковый прием, тем более, что это не музыкальный мир, а театральный.

30 января воскресенье.

Утром повторял программу, а в 1 ч. 30 м. дня второй клавирабэнд в большом зале консерватории, с повторением программы первого.

Зал полон. На этот раз я чувствую себя спокойным, ибо начинаю привыкать к русской публике, а потому играю без инцидентов. Успех такой же и в том же порядке, как третьего дня. Несмотря на небывалый вой в конце, я заставил закрыть рояль после второго биса. Однако вой продолжался и после этого. Сегодня в артистической среди других — Мейерхольд, Яворский, Луначарский с женой, Чернецкая со своими балетными проектами и требованием немедленного обсуждения их. После того как толпа схлынула, Яворский увозит нас к себе обедать.

По отличной морозной солнечной погоде, в двух санках, мы едем к нему в Замоскворечье. Впереди едет Пташка с Яворским, сзади я с Протопоповым¹. Яворский живет с Протопоповым вместе и называет его "Мусенькин". Пересекая Москву-реку, я кричу Пташке, чтоб она оглянулась на Кремль, он весь залит солнцем и вид у него ошеломляющий. Наши с Протопоповым санки догоняют их санки и я прошу Яворского указать мне дом Сувчинского, эту фамилию здесь лучше громко не кричать.

Яворский и Протопопов чрезвычайно галантны и не позволяют платить за извозчиков. Квартира их тесная и три комнаты до отказа заставлены мебелью, в том числе двумя роялями. Яворский угощает нас совершенно феноменальным обедом, вероятно самым вкусным за все наше пребывание в СССР. Тут и закуски, и изумительные блины, и феноменальные пирожки, и словом с половины обеда я уже ничего не могу есть. Обедает еще певица Держинская² с мужем и мать Протопопова.

После обеда я из любезности прошу показать сочинения Протопопова, зная, что Яворский сходит от них с ума и, с другой стороны, зная также, что это мертвецкая скука. Однако обед так вкусен, что надо принести себя в жертву. Яворский

моментально садится за рояль и по рукописи играет Сонату (кажется вторую) Протопопова. Рояль необычайно крикливый, комнаты крошечные, знаменитый пианист Яворский ни на минуту не отпускает педали, в сонате раскаты по всей клавиатуре, звенят струны и стекла. Закончив, Яворский извиняется за нечисто сыгранные ноты и за то, что недостаточно ясно выделил семиголосный канон в увеличении и обращении. Чтобы чем-нибудь заместить похвалы, я заинтересовался каноном, который действительно кажется сделан очень ловко. Затем Яворский и Протопопов садятся за два рояля и играют "Гудочек" Протопопова, невероятной длинный романс, приблизительно длиной в четыре "Утенка", написанный на печальную народную сказку, недавно записанную на севере России. Эта вещь уже напечатана. Яворский по одному экземпляру играет сложный аккомпанимент, Протопопов на другом рояле подыгрывает вокальную партию. Несколько раз он сбивается, Яворский сердится и кричит на автора. Романс движется в чрезвычайно медленных темпах около сорока минут. За обед заплочено с толикой и можно вернуться в столовую пить кофе. О том, что "Гудочек" скучен и местами впадает в скрябинские гармонии, я решаю умолчать, дабы не портить атмосферы. Но все же задаю себе вопрос: Яворский изобрел какую-то гениальную теорию ладов, Протопопов — ревностный воплотитель этой теории и даже через каждые несколько тактов выписывает анализ употребляемых им ладов, — каким же образом он в результате влетел в скрябинский супер-нонаккорд.

Между тем разговоры перешли на другую тему. Держинская, очень милая дама, рассказывает про колоссальную посещаемость московских театров, несмотря на дороговизну билетов; люди недодедают, но ходят в театр. Затем Яворский рассказывает, что в прошлом Мае, когда он вернулся из Парижа в Москву, то в сферах уже в подробностях знали о разговорах, которые Яворский имел со мною, ибо во время нашего завтрака — случайно или нарочно — сидел нужный человек, который все это записал и сообщил. Отсюда разговор естественно переходит на слежку в Москве, особенно за теми, кто является из-за границы. Яворский описывает характер того шума, который слышен в телефоне, когда к нему прицепляется официальный подслушиватель. Действительно, на такого рода шум мы уже обратили внимание. Хотя мы ничего предрассудитель-

ного в телефон не говорили, но все же этот шум надо иметь в виду. Из всех сегодняшних разговоров неожиданный вывод: москвичи ругают теперешнюю Москву, но болезненно ждут, чтобы ее похвалили. Выходим вместе с Держинской, Яворский и Протопопов нас провожают до трамвая, который набит до отказа.

31 января, понедельник.

Утром репетиция — освежить программу предыдущего симфонического концерта, который повторяется сегодня вечером.

Днем были у Нади Раевской, прося ее приготовить записку со всеми данными о деле Шурика. Вручил ей 100 рублей для пересылки тете Кате в Пензу и еще 50 — для нее самой.

Анонимное письмо, подписанное "русская женщина". Советует, когда улягутся фимиамы, с восхвалением зигзагов и уколов, и я смогу сосредоточиться в тишине, то, чтобы я усвоил, что сфера моя не сочинительство, а исполнение Бетховена, с его страстью и титанической мощью, и что тогда мир падет ниц передо мной. Очень надо! Спасибо, русская женщина.

Вечером — симфонический в Большом зале консерватории, с повторением программы. Зал снова полон. Из правительства присутствует Луначарский, но ко мне в артистическую не заходит. Сюиту из Шута сыграли отлично. Перед моим выступлением Цуккер, по требованию Луначарского, объявляет с эстрады, что на международном конкурсе пианистов в Варшаве 1-ый приз получил москвич Оборин¹. Оборин — молодой юноша, кажется лет девятнадцати, играл с Персимфансом перед моим приездом мой Третий концерт. Говорят, он кроме того композитор и собирается ехать ко мне учиться.

Третий концерт проходит сегодня хуже, чем в первый раз, но это по вине оркестра, так как я сегодня был почти спокоен и играл хорошо, хотя и несколько медленнее, чем в первый раз. У оркестра же сегодня тридцать три несчастья: у первого контрабасиста сердечный припадок, у первой флейты воспаление легких, первый альт сломал себе ногу, — вот они и расстроились без главарей. Контрабасисты напутали в трудной для них третьей вариации, где у меня ударения с синкопами и где

им приходится брать ноты на сильные части, на восьмую позднее меня. Таким образом мои ударения их все время сбивали, они путали и в конце концов сбили меня. Наконец я поймал и дело обошлось сравнительно благополучно. После окончания концерта — бисы и рев. В сюите из Трех Апельсинов, стоявшей в конце программы, марш бисировался согласно традиции.

1 февраля, вторник.

Встал в 8, так как в 9 репетиция увертюры для 17-ти человек. Впрочем, оркестр собрался с опозданием и я пришел первым. Играли ее в медленном темпе, отчего увертюра выходила вялой и скучной: теперь я понимаю, почему на прошлой репетиции оркестр отнесся к ней холодно. Пришлось подогнать темпы, заставить делать ударения — и увертюра пошла лучше. Затем без конца возились со Вторым концертом. Оркестру он по-видимому нравился и после каждой части музыканты громко аплодировали. Все же репетиция вышла довольно тяжелой, так как мне большую ее часть пришлось просидеть за фортепьяно, ставя на место трудный Второй концерт.

После репетиции я чувствую себя усталым и днем отдыхаю дома. Впрочем, я устал с первого же дня приезда в Москву и так не приходил в себя в течение всех двух месяцев.

В 5 часов явился Голованов и повез нас к себе на Среднюю Киселевку для проигрывания и обсуждения Трех Апельсинов. Пройдя через целый ряд сложных переходов, мы очутились в его квартире, очень просторной и мебелированной не без роскоши. Голованов вероятно моложе меня, но живет он с Неждановой, которой теперь за 50 и это она вытащила его в люди, причем он занимает положение выше своего таланта. Впрочем, он милый парень и по-видимому очень серьезно интересовался постановкой Апельсинов, клавиш которых довольно недурно знал. Кроме нас, присутствовали режиссер Дикий (причем это оказывается не псевдоним, а так таки и есть настоящая фамилия) и художник Рабинович. Последнего уже давно хвалил мне Сувчинский, как художника и как человека, и действительно, он оказался человеком с большим шармом.

Мы сейчас же принялись да дело: я уселся за рояль, а Го-

лованов и Дикий стали сзади с карандашами. Я играл, давал объяснения и сообщал находки и промахи предыдущих постановок этой оперы. Дикий строчил в своей записной книжке, а Голованов, с чрезвычайной непринужденностью, моментально переводил мои темпы на метроном и вписывал их в клави́р. Для меня это совершенно непостижимо, как это можно так, и я не без недоверия косился на его заметки в клави́ре. Хотя мне помнится, что Черепнин¹ рассказывал, что такая способность была у Римского-Корсакова, который очень гордился ею и говорил, что у него "не только абсолютный слух, но и абсолютный ритм". Надо сказать, что все трое относились к предстоящей постановке с необычайной горячностью: им во что бы то ни стало хотелось переплюнуть ленинградскую постановку. Рабинович уже туда едрил "посмотреть, как не надо делать", Дикий же наоборот решил не ездить и не интересоваться, дабы не претерпеть никаких влияний. Несколько скептичен Голованов, находя, что сезон уже подвинут и едва ли до Мая успеют поставить оперу.

Между I и II актом, в виде отдыха, сели обедать. Голованов блеснул замечательным обедом с массой всяческих закусок и со старой польской водкой, на которую он просил обратить особое внимание. Я, впрочем, отпил только один глоток, Дикий же не без удовольствия опрокидывал рюмочку за рюмочкой.

Затем на сцену появился ангорский кот и фотографический аппарат с крайне светосильным объективом, которым можно было снимать даже при лампе и к тому же со сравнительно короткой, во всяком случае, не мучительной выдержкой. Эта фотография впоследствии попала в газеты. Пташка в ней не участвовала, так как за ней заехал Цуккер и повез ее в оперную студию Станиславского, на Царскую Невесту. Мы же вновь вернулись к Трем Апельси́нам и прошли II акт.

Предполагалось, что по окончании II акта я подъеду на Царскую Невесту². Оттуда даже звонили несколько раз, спрашивая, скоро ли я приеду, но мы провозились со II актом до половины одиннадцатого, я очень устал и мне показалось, что не стоило ехать на последний акт. Поэтому я отправился домой. Между тем оказалось, что туда надо было все-таки поехать, там были в ожидании, приказали пропустить меня в зал даже во время действия и вообще приготавливали какую-то

встречу. Пташка вернулась домой лишь половина первого, так как спектакль затянулся, а после него была такая толкотня, что немислимо было получить шубу. Я на нее обрушился, что из-за ее выездов я не могу вовремя ложиться спать, между тем завтра с утра надо много заниматься. В результате на сон грядущий поссорились.

2 февраля, среда.

С Пташкой помирились. Вчерашняя постановка Царской Невесты произвела на нее очень сильное впечатление. Пускай певцы и оркестр не на высоте, но интересен режиссерский замысел и отделка каждого жеста. Вчера она сказала Цуккеру:

— Вот в таком театре я хотела бы работать.

Цуккер:

— Отлично. Хотите, завтра же подпишем контракт.

Словом, для этого Пташка готова переселиться из Парижа в Москву.

Звонил Кучерявый, которому я написал два слова, видя, что сам он не показывается. У него все благополучно, но возторженный тон, относительно того, что все должны возвращаться в СССР и работать над восстановлением, который был в его предыдущих письмах, заметно упал.

Я упражнялся на рояле и готовил вторую программу. Затем отправились в Большой зал консерватории для того, чтобы репетировать с Фейнбергом вальсы Шуберта для двух роялей. Ждал его без конца, наконец он появился и начал с чего-то, вроде того, что "не думайте, что я опаздал". Оказывается, были какие-то препятствия, не то опаздывали часы, словом, в Большом зале уже репетировать было нельзя и мы пошли к Ламму¹, у которого квартира тут же при консерватории и два рояля. Это тот самый Ламм, который аккомпанировал вещи Мясковского во время моих первых выступлений в Москве в концертах, устроенных Держановским.

Мое переложение вальсов Шуберта я слышу в первый раз, и по существу даже не слышу, ибо занят ансамблем и старанием играть верные ноты, так как свою партию конечно не доучил. Пока мы играли, подошел Мясковский и сам Ламм, и мы пили чай. Мясковский ругал Персимфанс и находил, что

последний раз они аккомпанировали Третий концерт отвратительно.

Я:

— Но у них было смягчающее обстоятельство: у них было из строя три музыканта, из числа самых нужных.

Мясковский:

— Вот именно! Оттого что выбыли деревянные и струнные, медные попадали не в такт.

Мясковский хвалил Оборина, как композитора. Не все у него приятно, но как раз то, что считают у него неприятно, и есть талантливо.

Только что вышла из печати партитура Седьмой симфонии Мясковского — дивно издана Универсалем; наше издательство печатает хуже.

По возвращении домой застал Надю, которая принесла написанный на машинке листик с объяснениями, когда и почему приговорили Шурика.

Вечером никуда не пошли — не хотелось мотаться, да и надо было поиграть на рояле, а то Четвертая Соната была, например, недоповторена.

3 февраля, четверг.

Утром занимался и приводил в порядок вторую программу, главным образом Четвертую сонату. Письмо от Горчакова с каракулями от Святослава. Бэби "охоший мальчик".

Днем заходили в Персимфанс. Там угрозная телеграмма от какого-то Воробьева из Харькова, официального лица в украинском министерстве народного просвещения. В телеграмме сказано, что если на Украине я выступлю с концертами не от имени Украинских Государственных театров, то мои концерты будут запрещены. Я возмущен и говорю, что если так, то выступлю именно не от Гостеатров, а с частным импресарио и объявляю, что сбор от концерта поступит в пользу беспризорных. Пусть тогда посмеют помешать. Цейтлин однако смеется и говорит, что из Харькова грозятся зря, ибо не имеют на это права.

Репетировал с Фейнбергом на двух роялях вальсы Шуберта. Идет хорошо. Но говорят, хуже идет на завтра продажа, мо-

жет быть потому, что в афише не достаточно ясно упоминали, о новой программе, и публика думала, что я в третий раз жарю одно и то же.

Вечер провели дома, так как программа не была доведена до должного совершенства, надо было позаниматься.

Пили чай с Моролевым, с которым приятно было поболтать. На свою жизнь он ворчит, хотя пожалуй мог бы и не ворчать, так как многим другим хуже. Получает он всего 100 рублей жалования, но имеет еще вторую службу, где получает еще 100. Кроме того, старшая дочка тоже начала служить и получает около ста, и, наконец, он частной практикой подрабатывает еще около ста. А 400 в месяц — это вовсе не плохо.

4 февраля, пятница.

Утром репетиция с оркестром, во время которой с меня производили кинематрографическую съемку, слопавшую в конце концов четверть репетиции, ибо сначала снимали меня со всем Персимфансом, причем мы в это время что-то фальшиво играли¹. Затем снимали меня одного. Тут уже меня окружили со всех сторон ослепительными лампами, которые не только слепили, но даже грели, и заставили довольно долго играть, "что-нибудь, где особенно прыгают руки". Я выбрал для этого финал Четвертой сонаты, там, где гаммы перехватываются по очереди обеими руками, и разумеется врал отчаянно, сбиваемый шипящими лампами и вертящим съемщиком. Потом я подумал: а ну, как эта лента сохранится для потомства и, пожелав узнать, как это исполнял свои вещи композитор, ее пустят замедленно. То-то ужас откроется тогда!

После репетиции нас с Пташкой отвели в фойе, она в леопардовой шубе, и посадив нас рядом, заставили между собой беседовать, причем у меня слезы текли от света. При демонстрации, можно озаглавить эту фильму — сцена со слезами в семье Прокофьева.

Затем с Цейтлиным ездили в Управление по заграничным паспортам. Тов. Гирин был по обыкновению галантен и монденен. Между делом, он сказал:

— А мы тут за вас должны были заступиться, — и объяснил, что в Вечерней Красной Газете появилась заметка о том,

что Прокофьев просил вернуть ему советское подданство и ходатайство это было удовлетворено. Заметку эту я уже видел и она мне очень не понравилась. Родилась же она по-видимому из того факта, что я подал заявление о заграничном паспорте. Я объяснил Гирину, что у меня даже были интервью на эту тему, мол, правда ли я ходатайствовал о советском подданстве и что на это я ответил:

— Неправда, ходатайствовать было совершенно излишне, ибо как в 1918 году я уехал с советским документом, так и вернулся теперь с таковым же. О чем же мне ходатайствовать?

Гирин сказал:

— Совершенно правильно, и в этом же смысле мы послали опровержение в Вечернюю Красную Газету.

(Между прочим, я так и не видал, чтобы это опровержение появилось). Что касается до сегодняшних формальностей, относительно заграничных паспортов, то понадобились какие-то дополнительные документы, которые взялся достать Цейтлин. Кроме того, Гирин рекомендовал предпринять кое-какие шаги в Наркомпросе, дабы я мог быть избавленным от уплаты 400 рублей за два заграничных паспорта. Вернувшись домой, готовился к вечернему концерту, но доучить Четвертую сонату все-таки не удалось.

Вечером Большой зал консерватории опять полон. Говорят, много купили билетов в последний момент, хотя возможно, что управление Персимфанса заполнило непроданные места даровой публикой. Впрочем, этот вопрос Цейтлин как-то замаял, чтобы не произвести на меня дурного впечатления, а может затем, чтобы я его не винил за слишком частые насаждения одного концерта на другой.

Первым номером идет Вторая соната, которая сходит прилично, затем — бабушкины сказки, причем я вру в третьей, то есть просто в течение двух тактов забываю, что надо играть правой рукой и потому играю только левой. Мясковский, к которому после концерта я бросился на шею со словами:

— А как я заврался в третьей сказке, — лукаво усмехнулся и сказал:

— И это было очень заметно. Но, впрочем, ничего, ничего. Вы ведь не играли фальшивых нот.

Помимо этого инцидента я играл остальные сказки хорошо, "с чувством и настроением". Успех определяется гораздо

ярче, чем в первой программе. После сказок он очень большой.

В антракте прошу в артистическую никого не пускать. Сидит только Цуккер, который, очень довольный сказками и их успехом, говорит:

— Вот именно такие вещи и надо давать публике.

В ответ на это я на него обрушиваюсь, говоря, что публике надо воспитывать, давая ей более сложные и значительные произведения, а он, которого я считал одинакового со мной мнения, оказывается проповедывает подлаживание ко вкусам толпы.

Четвертая соната, которую я играю неважно, следует после антракта. Первая часть мне кажется скучной и я играю ее без удовольствия; вторую часть — лучше, хотя боюсь наврать в самом легком месте, то есть в середине; финал — скорее "декоративно", чем точно, как я потом доложил Мясковскому, но все же большой успех.

Затем раскрыли второй рояль и мы с Фейнбергом сыграли вальсы, которые сошли, по-моему, хорошо и после которых разразились такие аплодисменты, как и в концах всех предыдущих концертов. Я бисирую из двенадцатого опуса и затем отказываюсь, прося закрыть рояли, но ворвавшийся Яворский бурно требует повторения вальсов. По его приказу вновь открываются рояли и он, схватив ноты, первый бросается на эстраду, говоря, что будет перелистывать. За ним поплелись и мы с Фейнбергом и повторили вальсы к большой радости публики, хотя на этот раз играть было менее приятно, мне, по крайней мере, сидевшему у самого края эстрады, где столпилась масса народу, во время игры рассматривавшего руки и ноги.

В артистической ученики Яворского поднесли Пташке цветы.

5 февраля, суббота.

Утром оркестровая репетиция. Увертюра идет лучше. По совету Цуккера, который даже нарисовал план, пересадили 17 человек, исполняющих увертюру, в новом порядке, а то они сидели на тех же местах, как и в оркестре, поэтому были далеки друг от друга и получалось впечатление унылого полупустого оркестра. Теперь их посадили всех в кучу, причем ар-

фы, согласно чертежа Цуккера, неожиданно для них, попали в первый ряд, что привело к забавному конфузу: оказалось, что сидя сзади, они играли свою трудную партию довольно приблизительно, когда же они оказались спереди, я два раза поймал их на неверных пассажах, они покраснели, смутились и сказали, что возьмут свои партии учить домой. В общем, увертюру удалось подтянуть, но Второй концерт, с которым провозились большую часть репетиции, шел еще плохо.

Днем спал и занимался на рояле. Так как вчера было еще анонимное письмо от другой русской женщины, но на этот раз подписанное Пава и притом менее назидательного, но более эротического и даже демонического характера, с приложением телефона и просьбой позвонить, то мы с Пташкой забавлялись, что позвонит она, Пташка, и, заявит, что она мой личный секретарь и прочтя это письмо прежде, чем докладывать мне, желает знать, какого рода удовольствия и развлечения предлагает мне эта Пава. Впрочем, потом на это дело махнули рукой, так как по очереди начали приходить Держановский, Юргенсон и Кучерявый. Какой-то нетерпеливый женский голос требовал меня к телефону, но я не подошел.

Юргенсон как-будто постарел, но пожалуй не очень, для двенадцати лет, которые я его не видел. Говорит он довольно сложно, медленно и с отклонениями, что страшно затягивает разговор. Он занимает небольшую должность в Музсекторе и, таким образом, служит в том же магазине, владельцем которого он был в прежние времена. Разговор велся не особенно громко, так как неизвестно, кто жил в соседнем номере, от которого нас отделяла запертая дверь.

Дело сводилось к следующему: после национализации его издательских прав в России, он передал свои заграничные права своему приятелю, германскому издателю, Форбергу, который на основании этого перепечатал и продает за границей целый ряд сочинений, в том числе и все мои, раньше изданные у Юргенсона, за исключением Первого концерта. За это он время от времени переводит Юргенсону некоторые суммы, причем, небольшие и не особенно аккуратно. О какой-нибудь отчетности нечего и думать, так как это делается полулегально. Цель моего разговора — устроить так, чтобы эти права перешли от Форберга в наше издательство с тем, чтобы авторские права, которые я буду получать от продажи этих сочинений, я делил бы по-

полам с Юргенсоном, то есть каждый из нас получал бы по 12,5% от продажи. Некоммерческая идея нашего издательства гарантировала бы Юргенсону корректность расчета. Юргенсон охотно согласился на это, но сложность заключалась в том, чтобы заставить Форберга отдать свои права нашему издательству. "Хотя Брут бесспорно честный человек", но все же он истратил деньги на перепечатку этих сочинений и под этим предлогом мог бы всячески увилить. Юргенсон взялся написать ему, причем просто написать было невозможно, ибо письмо могло быть перехвачено цензурой, а надо было действовать какими-то окольными путями, кажется через кого-то в германском посольстве.

Кучерявый явился еще более толстым, чем я его знал по Америке, и я ему вручил автоматическое перо и карандаш, которые по его просьбе привез из-за границы. Бодрое настроение его первых писем по приезде в советскую Россию, когда он принял пост директора клееваренного завода в Москве, ныне сильно упало. Работать невозможно. Все лентяи, чиновники и формалисты, нужна частная инициатива, иначе дело совсем замерзает, уже не говоря о том, что ладить с коммунистами, которые все время контролируют и шпионят — чистое мучение. Переходя на английский язык и понизив голос, он прибавил:

— Здесь каждый шестой человек — шпион.

Вечером за нами зашел Цуккер и мы отправились в гости к Каменево¹, сестре Троцкого и жене советского посла в Риме. Сама она — глава культурной связи с заграницей, то есть должна показывать лицом культурный товар советской России и, с другой стороны, вводить в Россию из-за границы то, что для нее полезно с советской точки зрения.

Так как Каменева имеет жительство в Кремле, то нам были выданы особые пропуска, и это путешествие в Кремль само по себе не было лишено интереса. Мы отправились пешком и, подходя к Кремлевским воротам, предъявили наши пропуска в окошечко. После выполнения каких-то формальностей — в точности не знаю каких, так как выполнял их Цуккер, а я тем временем переминался с ноги на ногу от страшного мороза, — мы прошли через ворота, где стояли солдаты с ружьями и перебивавшими на морозе штыками. Странное ощущение было, когда мы вступили в красный Кремль — соединение старины с самой революционной новизной, собирающейся отсюда перестроить весь мир.

Между тем, Цуккер шагал рядом и, захлебываясь, объяснял:

— Вот прошел такой-то, это министр того-то, а вот здесь Ленин сделал то-то, а вот тут живет Демьян Бедный².

— Скажите пожалуйста, как важно, в самом Кремле, — сказал я.

— Он старый коммунист, — объяснил Цуккер, — но жить в Кремле вовсе не так удобно, ибо если он хочет пригласить кого-нибудь к себе, то постоянная возня с пропусками.

После ряда длинных коридоров одного из огромных кремлевских зданий, несколько министерского типа, мы остановились у двери Каменевой. Нас ввели в переднюю, довольно нелепую, а затем в огромную и очень комфортабельную комнату с великолепными креслами и диванами, и множеством шкапов и полок с книгами. Ввели нас с легкой торжественностью, чувствовалось, что мы в высоком месте и почтение носилось в воздухе.

Сама Ольга Давыдовна показалась мне живой и приятной дамой, несколько америкасского типа, в чем однако Пташка со мной не согласилась, не находя ее ни приятной, ни американской. Тут же был Карахан³, затем явился Литвинов с женой. Оба они очень любят музыку и кое-что понимают в ней. Карахан объявил мне, например, что у него в Китае было Дуо-Арт⁴ и среди роликов много сделанных мной, и что по вечерам, отдыхая от своей работы, он любил слушать мои сочинения. Страшно трогательно; Карахан, насаждая китайскую революцию, черпал свой отдых и новые силы под звуки моих сочинений.

Цуккер осторожно подполз ко мне и дал понять, что хорошо бы было, чтобы я немного поиграл, что я и сделал, даже не без удовольствия, так как всем присутствующим по-видимому очень нравилась моя музыка. Я им играл главным образом мелкие вещи, в промежутках между которыми шли беседы с Литвиновым и Караханом. Они расспрашивали про границу и про мои впечатления от СССР. А я им ругал то, что плохо за границей и хвалил то, что хорошо в СССР, не выходя, разумеется, из рамок искусства. И таким образом выходило, что мы в сущности во всем согласны.

После этого хозяйка пригласила пройти в столовую поужинать. Стол был сервирован ни богато, ни бедно, но, во вся-

ком случае, беспорядочно. На салфетках стояли инициалы А.Ш. Подавала горничная, но ее звали по имени и отчеству.

Кроме Литвинова и Карахана, за столом еще несколько человек, мало замечательных, в том числе сын Каменевой, совсем молодой человек, и его жена, еще моложе, с виду девочка лет пятнадцати, но на самом деле несколько старше. Она ученица балетной школы и очень интересуется моей музыкой, но к сожалению вернулась домой сегодня слишком поздно и не слышала моей игры.

После ужина Каменева просит меня поиграть для этой девицы. Тут я решаю, что надо держать тон и отвечаю, что сейчас уже поздно и что кроме того я устал. У девицы капризно вытягивается лицо. Я назидательно говорю:

— Надо возвращаться домой вовремя.

Но оказывается она не могла вернуться вовремя, так как должна была где-то танцевать. Я говорю:

— В таком случае вы меня услышите на одном из ближайших концертов.

Но оказывается, что по вечерам она вообще занята и Каменева все-таки просит меня сыграть ей. Я отвечаю несколько нетерпеливо:

— Я тоже занят завтра утром на репетиции и мне нужно иметь свежую голову и крепкие пальцы, — прибавляю я дочке: — если вам очень хочется меня слышать, то вы все равно сможете устроиться, а если не сможете, то значит вам вовсе не так хочется меня слышать. В таком случае не стоит, чтобы я вам играл и сейчас.

После этого начинаю прощаться. Кажется разговаривать с принцессами крови не полагается так и мое упорство произвело на Каменеву неприятное впечатление, но я рад, что поставил девочку на место.

Однако уйти сразу не приходится: оказывается, что уже первый час ночи, наш же пропуск годен только на тот день, на который он выдан, то есть до 12 часов, а без пропуска обратно не выпустят, поэтому надо звонить в комендатуру о новом пропуске. Литвинов любезно предлагает подвезти в своем автомобиле, так как он живет вне Кремля.

— Со мной у вас пропуска не спросят, — прибавляет он. Словом, еще пьем чай и я нетерпеливо жду, когда приедет за Литвиновым автомобиль, потому что мне хочется спать, а зав-

тра рано репетиция. Наконец докладывают, что автомобиль подан, мы прощаемся с Каменевой и идем по бесконечным коридорам. Мадам Литвинова почему-то несет свои ботики в руках, кажется потому что они грязные и она не хочет пачкать коридора. В просторный лимузин Литвинова нагружается он с женой, я с Пташкой, Карахан и Цуккер.

— Как я люблю этот тихий Кремль, — мечтательно говорит жена Литвинова.

Зная, какую бурную деятельность проявляет этот Кремль, мне курьезно слушать это наивное восклицание.

В кремлевских воротах часовой останавливает наш автомобиль. Литвинов, Карахан и Цуккер вынимают свои постоянные пропуска. Мы сидим, забившись вглубь автомобиля. После этого автомобиль трогается дальше и Литвинов отвозит нас в Метрополь.

Дома мы еще делимся впечатлениями. Пташка справляется, кто этот любезный черный господин, который так тряс ее руку. Я объясняю, что это тот самый Карахан, который возмутил Китай. Пташка изумлена и передает забавный рассказ жены Литвинова.

— Вы знаете, — говорила ей последняя, — в Париже так трудно с шоферами: ведь там все белые шоферы.

Пташка только что собиралась ей объяснить, что в Париже черных почти не бывает и что только в Нью Йорке разве есть негры среди шоферов, но жена Литвинова пояснила свою мысль:

— Ну конечно, каждый третий шофер — врангелевский офицер и того гляди, когда дашь адрес советского посольства, откажется везти, да еще надерзит.

Затем мадам Литвинова пригласила Пташку непременно навестить ее, по-видимому плененная возможностью поболтать по-английски.

6 февраля, воскресенье.

В 9 часов репетиция с оркестром и учение Второго концерта. По окончании репетиции спрашиваю у Цейтлина совет, принимать ли предложение Тутельмана на шесть концертов по Украине. Тутельман, тот самый, который приезжал два года то-

му назад в Париже вместе с Б.Б.Красиным и который мало понравился мне во время парижской встречи, пользуется неважной репутацией и в Москве. Год назад он не без скандала вылетел из Росфила, но будучи человеком крайне ловким, попал в дирекцию Украинских Государственных театров. На мой вопрос, Цейтлин сказал, что Тутельман конечно мало желательное лицо, но поскольку он предлагает контракт от имени Украинских Гостеатров, обмана быть не может, а раз он обязуется платить в долларах и гонорар предлагает хороший, то можно согласиться.

Возвращаясь в Метрополь, встретил Меклера. Он был в большом волнении, ибо ему не хотелось уступить меня Тутельману, между тем он уже пронюхал, что Тутельман ходит вокруг меня. Меклер горячился, предлагал по 1.000 рублей за выход в провинции, а в Москве и больше, и даже совал мне в руку в виде задатка, без расписки 1.000 рублей, лишь бы закрепить дело. В подтверждение того, что он международный менеджер, показывал телеграмму от Жилия Маршекса, в которой последний соглашался на 20 концертов по 110 рублей за концерт. Бедный Маршекс, так хваставшийся в Париже своими потрясающими успехами в России: 110 рублей, да еще полупочтенного импресарио! Впрочем, на французский взгляд это уже кое-какой гонорар. Несмотря на международную телеграмму и на гонорар в десять раз больше против нее, я возвратил Меклеру сунутые мне в руку 1.000 рублей и отделался от него неопределенными восклицаниями.

Когда я поднялся в номер, то зазвонил телефон от Тутельмана. Не будучи в состоянии взвесить все предложения, я и тут мялся и попросил Тутельмана отложить разговор до завтра. Завтра во всяком случае надо будет решить, потому что Тутельман уезжает на юг, а я в Ленинград.

Днем спал: вчера легли в 2, сегодня вскочили в 8, все утро репетиция, затем продажа себя на Украину — в результате усталость и тяжелая голова.

В 5 часов отправился в Большой театр, куда был приглашен специальной запиской от дирекции для обсуждения предстоящей постановки Апельсинов. Заседание происходило в ложе дирекции, точнее говоря, в гостинной, примыкающей к большой боковой ложе дирекции. В этой ложе также довольно часто сидят члены советского правительства. Нередко, по

окончании спектакля, они запирались в этой гостиной и решали государственные дела. В этой же гостиной вершились и дела театральные.

Придя на заседание я по существу знал только Голованова, Рабиновича и Дикого, причем и Рабинович, и Дикий были в Большом театре новичками, в первый раз вступая в него. По-немножку, во время хода заседания я разобрался кто есть кто. Директор, коммунист Бурдуков, старый партиец, ничего в театральном деле не понимающий, являлся каким-то инородным шипом, вогнанным правительством в живое тело театра. Он был раньше кажется военным и это помогало ему в том смысле, что он умел как-то решать и командовать. Впрочем, держал себя он прилично, даже скромно, старался сглаживать разноголосицу всех артистов и произвел на меня скорее симпатичное впечатление. Гораздо менее симпатичное впечатление произвел на меня Лосский, главный режиссер, которому по-видимому не нравилось появление на подмостках Большого театра нового режиссера — Дикого и который тихим голосом все время вставлял палки в колеса.

Кроме вышепоименованных лиц, был хормейстер, старик Авранек и несколько человек, представителей технической части, освещения, бутафории и пр.

Цель заседания — выяснить, можно ли поспеть поставить Апельсины в течение этого сезона. Дикий требовал несметное количество репетиций и Лосский сразу же дал понять, что с этим количеством репетиций нечего даже и думать поставить Апельсины, хотя бы даже в мае. Говорили еще Голованов — об оркестровых репетициях, Рабинович — о декорациях, Авранек — о хорах, и технический персонал — о бутафории и костюмах, я же по существу лишь пассивно присутствовал и иногда лишь направлял то Дикого, то Голованова, подсказывая им мои мнения вполголоса.

Поперек дороги стоял еще Красный Мак, революционный балет с музыкой Глиэра, который на очереди шел раньше Апельсинов, но по-видимому Бурдуков получил какую-то инструкцию свыше, чтобы Апельсины шли как можно раньше и потому он всячески настаивал на том, чтобы Апельсины были поставлены до 1 июня. Не поэтому ли он показался мне симпатичным человеком? А может быть в поспешности Бурдукова сыграло роль желание переплюнуть этой постановкой, поста-

новку ленинградскую, с надеждой повести в заграничную поездку московские Апельсины, вместо ленинградских. Словом, заседание закончилось благополучно, с намерением приложить все усилия, чтобы Апельсины пошли в мае.

После заседания я вернулся домой, чтобы взять Пташку. К нам присоединился Рабинович и мы пешком отправились к Голованову обедать. По дороге Рабинович с увлечением рассказывал о своем проекте выкрасить Москву:

— Москва имеет отвратительный вид, — говорил он. — Масса домов облупившихся, давно нечиненных, и не скоро она застроится и примет надлежащий вид. А между тем, если все ее выкрасить согласно известному плану, то какой может получиться эффектный город. Вообразите, целая синяя улица, а другая пересекает ее в две краски...

Мне этот проект очень понравился, но конечно это только проект.

У Голованова собрались те же лица, но присутствовала еще Нежданова, с которой особенно хотела познакомиться Пташка, зная о той славе, которой пользовалась Неждановская колоратура. Нежданова уже пожилая дама, очень высокого роста, очень милая. Говорят, она уже теряет голос, но Голованову хочется, чтобы она пела Нинетту — куда же с таким ростом влезать в апельсин!

Сегодня был такой же изумительный обед, как и в первый раз. К концу обеда подъехал Держановский и увез Пташку к себе, так как по воскресеньям у них собираются, и он непременно желал, чтобы присутствовала Пташка — очень жаль, что без меня, но тем более за ней будут ухаживать молодые композиторы.

По окончании обеда я сыграл III и IV акты Апельсинов, причем, как и в прошлый раз, Голованов блистал "абсолютным ритмом" и на основании моей игры ставил метрономические обозначения, а Дикий записывал все мои замечания в записную книжку.

В 11 часов прохождение оперы было окончено и я вернулся домой усталый и с тяжелой головой. Заснул я как убитый. В час ночи раздался оглушительный звонок по телефону. Я долго сидел на кровати, ничего не соображая. Когда же подошел к телефону, то оказалось, что это никто.

7 февраля, понедельник.

Проснулся усталый и ленивый, но понемножку разошелся. Опять репетиция, но я пошел не к началу. Учили главным образом Второй концерт, который удалось довести до значительной степени ясности. Для меня эти репетиции Второго концерта были не менее полезны, чем для оркестра, так как они мне дали возможность самому выгрататься в эту труднейшую штуковину и хорошо согласоваться с оркестром. В конце репетиции прошли еще раз увертюру. В зале Держановский, Голованов, затем Тутельман с контрактом, исправленным согласно моим вчерашним желаниям.

По окончании репетиции я удалился с Цейтлиным и, прочтя с ним контракт, подписал его. Таким образом, через месяц я еду на шесть концертов на Украину. Украинские Государственные театры на мне конечно наживутся, но то, что они предлагают — тоже сумма, к тому же в долларах, прямо чеком на границу.

По возвращении в Метрополь телефон от Хаиса, того самого ловкача, который умудрился мне заплатить за ленинградские концерты вдвое меньше, чем Тутельман платит мне за провинцию. Хаис только что явился из Ленинграда и желает засвидетельствовать мне свое почтение. Под предлогом, что очень занят, я отвечаю, что, к сожалению, не могу сейчас принять его. Однако оказывается, что Хаис уже в Метрополе и звонит мне снизу, кроме того он имеет письмо для меня от Асафьева. Я отвечаю, что, к сожалению, должен сейчас уходить и что, если он хочет меня подождать минуту, то я сейчас спущусь. Через пять минут я спускаюсь, обмениваюсь с ним несколькими официальными словами и ухожу.

Вечером концерт — вторая симфоническая программа. Весь большой зал консерватории продан. Первым номером идет увертюра оп. 42. Все 17 музыкантов стараются по мере сил и возможностей, но все же увертюра проходит без блеска и успех малый. Вообще эта увертюра была задумана для Элианского зала на 250 человек и, разумеется, в зале в десять раз большем она растворяется в бедность.

По окончании увертюры: долго переставляют пюпитры и затем я выхожу играть Второй концерт. Я волнуюсь и рассуждаю с собой: из-за чего, собственно? — Из себялюбия, разу-

меется: что скажут, если сам Прокофьев изоврался? Доказываю себе, что платформа неверная: ну, ошибся, и неважно, концерт все равно остается тем же. Рассуждения помогают и я выхожу играть довольно спокойно. Однако это спокойствие не удастся сохранить в наиболее трудных местах: в каденции, именно в колоссало, а также в начале III части, со скаканием руки через руку, — вру. Свинство. Впрочем, остальное играю хорошо и с подъемом. Очень большой успех определяется сразу же после I части. Перед скерцо немножко отдохнули. После скерцо крики "бис", но бисировать я разумеется не могу. После концерта успех колоссальный. Совершенно очевидно, что он производит впечатление гораздо более сильное, нежели Третий. После того как я несколько раз выхожу кланяться, а оркестр все еще сидел на местах, Цейтлин шопотом предлагает повторить скерцо. Я все еще чувствую себя не отдохнувшим, но триумфальное настроение зала и даже оркестра придает силы. Повторяем скерцо, на этот раз загнав его и чуть-чуть смазав.

В артистической Яворский с бурными встречами, затем Мясковский, мадам Литвинова. Тут же Надя Раевская, и странно было видеть обеих рядом: одну — англичанку, несущую ботики в руках и какими-то пружинами судьбы вынесенную на положение жены министра — аристократку, с мужем в тюрьме и не знающую, как вытянуть его оттуда. Однако знакомить их было бы неосторожно и пришлось разговаривать то с одной, то с другой. Затем меня отозвали в сторону и познакомили с Сосновским, важным коммунистом, статьи которого пользуются большим влиянием и о котором Цуккер говорит с почтением в голосе. Сосновский спрашивает меня, прочел ли я революционную поэму, которую прислали мне комсомольцы. Я всячески выпутываюсь, потому что действительно какую-то книжку мне прислали на адрес Персимфанса, но я так ее в правлении Персимфанса и оставил. Сосновский необыкновенно скучным тоном бубнит мне о достоинствах комсомольской книжки и о желательности, чтобы я обратил на нее внимание. Я же в это время думаю:

— Неужели так томительно скучны вьюжаки коммунизма и книги, ими рекомендуемые.

Наконец публика начинает расходиться из артистической и Сосновский от меня отваливался. Начинается II отделение

концерта, сначала марш и скерцо из Трех Апельсинов, в качестве "любимейших пьес народа", затем сюита из Шута. Я сижу в артистической и через щели тоненькой перегородки отлично слышу ее. Сюита звучит хорошо. По окончании — громкие вызовы. При моем выходе на эстраду — целое торжество: оркестр играет туш, зал встает и орет оглушительно. По окончании концерта надо ехать еще в Рабис, то есть в клуб работников искусства, где меня давно просили сыграть хоть несколько пьес. Оказывается я обещал сыграть сегодня после концерта, о чем мне энергично напоминают.

Пташка, я и Цейтлин отправляемся туда. Идем пешком, так как это совсем рядом, где-то в переулке, около Никитинской. Вокруг расходится публика с концерта, оживленно обмениваясь мнениями.

В Рабисе какая-то странная публика, есть совсем зеленая молодежь, есть малоинтеллигентные лица, но оказывается сейчас здесь съезд и оттого такой пестрый состав. Я нетерпеливо прошу, чтобы мне дали поскорее сыграть мои пьесы и отпустили домой. Публику, циркулирующую по всему помещению, быстро сгоняют в зал, затем я играю пять коротких номеров и, несмотря на аплодисменты и крики бис, стремительно уезжаю домой.

Завтра мы должны наконец тронуться в Ленинград. Оттуда уже письма, телеграммы и полное расписание нашего времяпрепровождения на все наше пребывание, которое сделал Асафьев.

Между прочим, там пойдет и Восьмая симфония Мясковского. Сегодня я спрашивал его, приедет ли он, но Нямошка все пролечил на зубы и кажется поехать ему не удастся. Мне страшно хочется предложить ему денег на поездку. Ведь в сущности сейчас они поступают ко мне без счета и числа, но я не знаю, как к нему подступиться, так, чтобы не обидеть.

8 февраля, вторник.

Вчера отыграли вторую программу, сегодня мы уезжаем в Ленинград, и все-таки репетиция. 14-го юбилей пятилетнего существования Персимфанса, посему торжественный концерт, на котором они играют только две вещи, два своих конька

— Скифскую сюиту и Экстаз¹. Сегодня меня попросили непременно прийти на репетицию Скифской сюиты, чтобы проверить, так ли играют, как хочет автор. И действительно, мне пришлось исправить не один темп и расставить множество акцентов, что придало большую рельефность исполнению. Репетиция происходила так: они играли, а я разгуливал по залу и в нужный момент останавливал их.

— Ах вот оно что, — радостно кричал Цейтлин после моего замечания и затем передавал ”пожелание Сергея Сергеевича” оркестру. В восходе солнца Табаков выдувал изумительные си бемоли.

Завтракать мы с Пташкой отправились к Сараджеву, который давно добивался, чтобы мы у него побывали и, хотя времени у нас было страсть, как мало, все же первому исполнителю моих сочинений в Москве отказать было нельзя, тем более, что Сараджев, ныне уже седеющий, так таки в большие дирижеры и не вышел, несмотря на свои огромные музыкальные данные и потому чувствовалось, что в нем жила какая-то обида на окружающий музыкальный мир.

Сараджев занимает огромную комнату, похожую на большую студию художника, в здании Филармонии. Его дочки, которые в былые времена премьеры ”Снов” ходили под столом, теперь стройные и очень милые молодые девушки. О Котике, в те времена девятилетнем мальчике, имевшем целый альбом пребойких пьес для фортепьяно, я боялся спрашивать. За границей до меня доходили смутные слухи, что он страдает падучей и вообще какой-то безумец.

Завтракали еще Мясковский и Держановский, которые немедленно затеяли нескончаемый спор о значении Персимфанса. Ясно, что дом всякого дирижера был враждебной территорией для оркестра, обошедшегося без такового. Я мало вмешивался в этот спор, но в защиту Персимфанса все же выдвинул важность верных нот, которые играет этот ансамбль, а отсюда и происхождение лучшей звучности у оркестра.

После очень вкусного завтрака (вообще в Москве завтраки и обеды были один лучше другого), перешли к роялю и Сараджев попросил сообщить темп и мои пожелания в Классической симфонии и Сюите из Апельсинов. Дело в том, что ловкий Держановский, несмотря на лапу, наложенную на меня Персимфансом, успел отхватить для Ассоциации Современной

Музыки московскую премьеру Классической симфонии, которой и будет дирижировать Сараджев. Сараджев и тут блеснул своим музыкантским глазом и указал мне одну опечатку в моих печатных партитурах, внимательно мною прокорректированных.

Появился Котик, ныне молодой человек с бородкой, со странными глазами и несколько странными манерами. Я не знал, как и о чем с ним говорить, и вообще его появление внесло какую-то неловкость. Однако пора было уходить, так как в Метрополь должна была явиться целая цепь визитеров, затем надо было собирать чемоданы и ехать в Питер.

Визитеры были расположены у меня в порядке, как у зубного врача, по полчаса на каждого. Но как и полагается русским визитерам, все они опоздали, сбились в кучу и потом были недовольны, что один мешал другому.

Первым номером явилась Чернецкая, та самая, которая своим балетом должна была перевернуть весь мир. Она появлялась в артистической на нескольких моих концертах, каждый раз добиваясь свидания, дабы рассказать мне свои проекты. Я в них ни на волос не верю, да и отзывы окружающих были о ней весьма посредственны, но Чернецкая была женщина настойчивая, демоническая, к тому же бывшая любовница Лучначарского и сверх того, отложившая на день свой отъезд, лишь бы прочесть мне свой манускрипт, — словом, пришлось ее принять. Содержание балета было достаточно сложно и изложено весьма подробно, так что на прочтение его требовалось минимум 40 минут. Это был сладкий советский сюжет, с благородными рабочими, развратными банкирами, фабриками, люксовыми апартаментами буржуев и пр., т.е. всем тем, от чего теперь уже тошнит даже самых заядлых коммунистов. Чтение второй половины балета происходило при самой ужаснейшей для Чернецкой обстановке, ибо я видел, что это никуда не годится, между тем в номере появились следующие посетители, все время звонил телефон, а Пташка отказывала какому-то интервьюеру, который опоздал против своего времени, словом ад для чтеца, но Чернецкая с отчаянием продолжала читать, а я из приличия слушал ее одним ухом, дивясь ее геройству. Впрочем, надо сказать, что отдельные моменты были задуманы не без таланта, однако, как-то странно опаздывали против событий: балет цифр на бирже, то возносящий, то низвергаю-

ший банкиров, был задуман не плохо, но ведь цифры поют и пляшут уже в последней опере Равеля, хотя об этом она могла и не знать; фабрика, приходящая в движение балетным образом — тоже не плохо, но ведь это мы с Якуловым использовали в моем последнем балете для Дягилева, чего опять таки она не знала... Когда я обо всем этом сообщил ей, у нее прямо опустились руки и она расстерянно сказала:

— Я этого не знала, вы меня убили.

Но по крайней мере одним ударом дело было ликвидировано.

Следующим пришел Разумовский, секретарь московского общества авторов, очень милый господин, с которым я уже был в переписке из-за границы. С ним надо было решить целый ряд вопросов: о пресечении перепечатки моих сочинений на Украине, о получении мною % за исполнение моих сочинений в концертах, о том, чтобы они не делали отчислений в свою пользу с авторских гонораров, которые я получаю в Мариинском театре помимо них. Разумовский сообщил мне, что сборы первых двух концертов (симфонических) были по 2.500 рублей, а с клавирабэнда по 3.500 рублей. По-видимому за мое пребывание в СССР я получу одних авторских отчисления с концертов более 1.000 рублей.

Мелькнуло еще несколько лиц, затем приехал Цуккер. Я спросил, как дело Шурика, он ответил, что данная мною справка лежит у него на столе и что он все время помнит об этом деле, но то лицо, к которому надо обращаться, сейчас в отъезде и вернется дня через четыре. У меня начинает возникать сомнение, не старается ли Цуккер отвертеться от этой щекотливости.

Между тем Пташка все время укладывает вещи, торопимся и суетимся. Отельный посыльный представляет счет за утюжку брюк — 2 рубля. Я возмущаюсь и говорю, что это эксплуатация. Он говорит:

— Такой тариф.

Я:

— Таких цен не существует ни в одной стране, даже в Америке, и такой тариф не может существовать. Для того, чтобы загладить брюки требуется 10 минут — значит портной зарабатывает 12 рублей в час. Тогда почему вся Москва не гладит брюки.

В дело вмешивается Цуккер, но посыльный ему дерзит. Цуккер чувствует себя до мозга костей коммунистом, т.е. офицером Л. Гв. Его Величества и заявляет, что подобное его поведение будет сообщено в Профсоюз и ему будет нагоняй. Не знаю, чем это кончается, но я за брюки не плачу и мы в таксомоторе выезжаем на вокзал, причем Цуккер нас провожает.

На Николаевском вокзале, ныне Октябрьском, вижу Чернецкую, которая тоже едет в Ленинград, кажется в связи с сегодняшним балетом, ибо она говорила мне, что читала балет Луначарскому и тот дал ей горячую рекомендацию к Экскузовичу². Очутившись на платформе, я с любопытством рассматриваю скорый поезд, с которым мы должны ехать. По путеводителю я уже знаю, что он сохранил свою довоенную скорость. Но состав вагонов сильно изменился. Раньше он был такой корректный и нарядный, теперь правда первый вагон, который мы видим — спальный международного общества, но затем следует нескончаемое число вагонов III класса, ныне "жестких", и только где-то далеко один вагон II класса.

У нас маленькое купе международного общества. Цуккер, стоя с нами у входа, замечает:

— В вашем же вагоне едет Экскузович.

Я говорю:

— Ах, это очень кстати.

Мы прощаемся и поезд трогается. Направляясь по коридору к нашему купе, я здороваюсь с Экскузовичем, но не очень смело, не будучи уверен, он ли именно это. Видя при этом некоторое удивление на лице Экскузовича, я решаю, что поздоровался с чужим человеком и спешу пройти в наше купе. Минут через пятнадцать я снова выхожу в коридор и вижу рядом в коридоре Экскузовича: это действительно он. Но теперь он разговаривает с какими-то лицами и некоторое время выдерживает тон, не обращая на меня внимание, по-видимому обиженный моей странной встречей с ним. Помилуйте, он поставил Три Апельсина, и так замечательно, а вдруг автор с ним еле поздоровался и сейчас же помчался дальше! Его разговор с соседями длился минут десять, затем он сразу повернулся ко мне с какой-то любезной фразой. Из купе появилась Пташка, перед которой он расшаркался, как настоящий дамский кавалер и затем разговор затянулся на целый час.

Экскузович подтвердил, что он собирается вести Апельси-

ны в Париж и даже начал задавать мне вопросы о разных технических деталях, как например о цене билетов в Гранд Опера и о размерах полного сбора, на что я, разумеется, не смог ему ответить. Очень интересовался моим новым советским балетом — нельзя ли его как-нибудь выцарапать от Дягилева к предстоящему в будущем сезоне десятилетнему юбилею октябрьской революции. Говорил, что у них замечательная новая балерина, совсем юная девушка, и что конечно надо приложить все усилия, чтобы Дягилев не выкрал ее за границу. Вообще, Дягилев рисуется какой-то хищной птицей, которая стремится выклевывать все, что ни появляется хорошего.

Около часу ночи разошлись наконец по нашим купе, причем Экскузович напомнил, что послезавтра дают Апельсины специально по случаю моего приезда. Я об этом знал уже по письмам Асафьева. Пташка нашла Экскузовича интересным собеседником и человеком не без шика.

9 февраля, среда.

Вскочил я в 8 часов, дабы успеть выбраться и посмотреть в окно на окрестности Петербурга, столь мне знакомые. Однако под толстым покровом снега я многого не узнал, в том числе и Саблина.

10 часов — Ленинград. На платформе встречают Асафьев, Оссовский¹, Щербачев², Дешевов³ и еще человек шесть незнакомых — представителей от каких-то музыкальных групп. Пока носильщик вытаскивал наши чемоданы, а я обнимался с друзьями, Экскузович быстро простился и со своим чемоданчиком умчался вперед, но когда мы двинулись по платформе к выходу, то вскоре нас встретил Экскузович с группой людей и, знакомя меня с ними, сказал:

— Вот, Сергей Сергеевич, вас встречают представители от Актеев.

Я со всеми ими раскланялся и затем мы расстались до завтра — на Апельсинах. Асафьев сказал:

— Ну и ловкий же этот Экскузович! Конечно, они приходили для доклада своему директору, а он сейчас же воспользовался, чтобы устроить встречу тебе.

Мелькает знакомый вокзал и нас сажают в автомобиль.

Ленинград покрыт снегом, погода ясная и это придает ему чистый, опрятный вид. Бегемотообразный памятник Александру III⁴ — его оставили в наизидание коммунистическому потомству о том, какие нескладные были цари. Едем по Невскому, я ощущаю радость и волнение. Памятник Екатерине тоже на месте и эта площадь с Александринским театром очень красива. В Гостином Дворе бросаются в глаза многие заколоченные магазины. Поворачиваем на Михайловскую, ныне улица Лассаля, и останавливаемся у Европейской гостиницы. Автомобиль заламывает какую-то огромную цену и отельный швейцар платит ему половину.

В Европейской гостинице нам оставили просторный номер с большой ванной и с кроватями в той же комнате, но отделенными занавесками. Номер этот значительно просторней московского, но московский был чистенький, с иголки и вид из него был изумительный. Европейская же гостиница как будто несколько обветшала со времени своей было славы, хотя по-прежнему остается лучшей в городе.

С нами приезжают также Асафьев и мы вместе пьем кофе. Асафьев страшно радуется и еще раз объясняет мне составленный им план моего пребывания в Ленинграде. Особенно он заботится, чтобы один день был отдан всецело ему о чтобы мы этот день провели у него целиком в Царском.

Затем вновь появляется Оссовский и Щербачев. Я чрезвычайно рад видеть Оссовского, который остался таким же мягким и обходительным, и лишь чуть-чуть поседел. Внимание Щербачева меня удивляет, так как в былое время в консерватории и после нее я мало имел с ним соприкосновения, но теперь Асафьев объясняет, что Щербачев — ближайший его помощник во многих музыкальных делах.

Появляется Малько⁵. Он такой же бойкий, как всегда, хотя и постарел. Вообще, иные лица за десять лет изменились мало, другие — наоборот, и когда сравниваешь последних, с их образами, оставшимися в памяти, вдруг видишь, сколько воды утекло. Малько теперь директор Филармонии, заместив ушедшего Климова. Таким образом, в истории с обыгрыванием меня в смысле гонораров у Малько оказалась преудобная позиция:

— Я что? Я ничего — это мой предшественник, и его смета уже подтверждена.

Малько пробыл недолго, рассказал несколько смешных историй совсем ровным голосом и ушел. Его сменил Дранишников⁶. Вот этого время никак не коснулось: такой же молодой, веселый — тяжелые годы только несколько обточили его и сделали более привлекательным. Он сразу стал захлебываться Апельсинами и бойко объяснять, какие перемены и улучшения внес он при постановке их. Впрочем, большая часть в мелочах, но потом он вдруг оробел и просил завтра при слушании быть не слишком придирчивым.

Так как время приближалось к часу, то я оставил всех завтракать, т.е. Асафьева, Дранишникова, Щербачева и Оссовского. Последнему давно уже было пора в консерваторию по своим инспекторским обязанностям, но он позвонил, что не придет. Завтрак длился до 4 с половиной часов, затем все снялись с якоря. Пташка очень устала и легла отдохнуть, я же горел нетерпением поглядеть на Петербург и потому вышел вместе со всеми. Мы прошли Михайловскую улицу и повернули по Невскому направо — по направлению к Адмиралтейству. Всюду мои афиши, двух типов, одни объявляют о двух симфонических концертах, другие — а двух реситалях.

За долгие годы странствования за границей я как-то забывал Петербург, мне стало казаться, что его красота была навязана ему патриотизмом петербуржцев и что по существу сердце России конечно Москва; мне стало казаться, что европейские красоты Петербурга должны меркнуть перед Западом, и что напротив, Евразийские красоты иных московских переулков остаются чем-то единственным. Настроенный таким образом, я сейчас был совершенно ошеломлен величиим Петербурга: насколько он наряднее и великодержавнее Москвы! Белый снег и ясная погода способствовали этому впечатлению. Оссовский, Дранишников и Асафьев мало-помалу разошлись в разные стороны по своим делам, а Щербачев взялся провожать меня дальше.

Мы вышли к Зимнему дворцу. Тут перемены: решетка у сада снята и сад открыт для циркуляции. Но это исчезновение решетки не портит картины и, наоборот, площадь становится как-то просторнее. Щербачев объясняет, что необычайно разросшийся Эрмитаж перекинулся в Зимний дворец и спал больше половины его комнат.

Генеральный Штаб выкрашен в ярко желтый цвет с бе-

лыми колонами. Это новость — раньше он был темно-красный, как и дворец. Последний еще сохранил свою темную окраску, но и он намечен к перекрашиванию. Хорошо ли это? Я люблю его темно-красным. Но Щербачев объясняет, что оригинальная его окраска была иная.

Наш выход к Неве совпадает с закатом солнца. Закат фантастический, розовый и розовым же цветом он заливает Неву, снег и даже стены зданий. В этом освещении Нева и Петропавловская крепость изумительно красивы. Мы идем по набережной и сворачиваем на Зимнюю канавку.

Щербачев, который преподает теперь теорию композиции в консерватории, с увлечением рассказывает про свою новую систему преподавания и про еще более смелые планы дальнейших нововведений согласно этой системе. У меня в представлении еще старая консерватория с необходимыми и непрерываемыми звеньями — гармонией, затем, контрапунктом, потом, фугой и формой, и мне странно и любопытно теперь слушать новые теории Щербачева, согласно которых все эти звенья летят к черту и устанавливаются совершенно новые принципы, о которых он с волнением рассказывал мне, считая меня главою современности в музыке.

Щербачев проводил меня до Европейской и я повалился на постель, дабы передохнуть перед вечером, для которого была уже задумана довольно обильная программа. Заснуть однако не удалось, так как за стеною упражнялась певица, которая окончательно вывела меня из терпения. Я помчался вниз объясняться с конторой отеля, но там мне объяснили, что это тенор Смирнов.

— Да нет же, я умею отличать женский голос от мужского, — закричал я.

Но мне объяснили, что к нему ходят дамы, которые тоже поют. Впрочем, не дальше, как через несколько часов, Смирнов уезжает и все это прекратится.

Звонила Лида Корнеева. Я давно не знал, какова ее судьба, но оказалось, что у них все относительно благополучно, и в 10 часов вечера она явилась к нам, с нею Зоя, а также "Григоревич", как называл Захаров⁷ мужа Лиды. Девочки хорошо одеты, и мне как-то по-прежнему хочется считать их молодыми барышнями, хотя Зое уже 31 год, а Лиде — 33. Лида впрочем чуть-чуть постарела, хотя также красива, и та же мягкость,

и тот же шарм, что и раньше. С Зоей за эти десять лет ровно-шенько ничего не сделалось, она такая же ослепительная цветущая в 31 год, как и в 21. "Григорович" в отставке. Я боялся, что ему, как морскому офицеру, придется плохо. Но его не трогали.

Неважно пришлось Леве, на которого окружающее впечатление революции в связи с мало удачной первой женитьбой так подействовало, что он сходил с ума. Теперь он чувствует себя недурно и счастлив со второй женой.

Лида тоже страдала нервным расстройством, но дело обошлось благополучно и теперь она играет в кинематографе. С младшими сестрами тоже все хорошо и мамаша жива.

Мы проболтали около часу и все они очень понравились Пташке.

В 11 часов явились Асафьев, Дранишников и Щербачев, дабы забрать меня и Пташку и отвести нас в литературно-художественный кружок на Фонтанке, где в мою честь был устроен вечер-встреча, о чем неделю тому назад была переписка с Москвой. Мы ехали мимо Александринского театра, который был освещен по примеру Гранд Опера, ярко малиновым цветом, т.е. точнее сказать, невидимо освещено было пространство позади колонн и на этом светящемся фоне прикрытые снегом деревья и памятник Екатерине выглядели чрезвычайно красиво.

В литературно-художественном кружке тьма народу, среди которых я сразу встречаю множество знакомых лиц, в том числе Ершова⁸, Леничку Николаева⁹, Дешевова, которого я видел уже утром, Берлин с мужем, которая также красива, супругов Оссовских и многих других.

Концертная программа начинается необыкновенно поздно, кажется половина второго ночи, так как музыканты где-то задержались. Начинают с еврейской увертюры, которую играют впрочем слишком медленно. Затем пианист Дружкин, кончивший консерваторию с премией, играет мою Четвертую сонату, скорее неважно, и соната мне кажется скучной. Далее вылазят четыре фаготиста и играют скерцо — очень хорошо, бойко, с нахальством; чрезвычайный успех и бисирование. После этого мне дали понять, что моя очередь. Я не стал ломаться и сейчас же сыграл ряд мелких пьес, который были встречены громкими аплодисментами.

Далее всех удалили из зала, в зале же появились столы и был накрыт ужин на массу человек. За нашим столом та же компания, что утром за завтраком, но еще много других, среди них артист Юрьев¹⁰, который умудрился до сих пор щеголять в царских запонках с коронами. Сам ужин был неважный, но все же подписка на него по-видимому была довольно дорогая, ибо для учеников консерватории (ныне студентов консерватории) она была не по средствам. Поэтому они сложились и делегировали двух человек, это очень трогательно.

Затем Оссовский, сидевший рядом со мною, поднялся и произносит речь, длинную и литературную, во время которой он несколько волновался и пальцы, которыми он опирался на стол, несколько дрожали. Речь была обращена ко мне и касалась значения моего возвращения в Россию, значения моей музыки и даже моей личности, которую он охарактеризовал необычайно привлекательно. Я же в это время дрожал от ужаса, потому что все это означало, что мне надо отвечать. Через некоторое время я тихонько спрашиваю у Оссовского:

— Александр Вячеславович, мне надо отвечать вам?

Но он смутился и сказал:

— Сергей Сергеевич, это уж как вы чувствуете.

Следовательно надо было отвечать и притом чем скорее, тем лучше — раньше с плеч долой. Поэтому я встал и, вспоминая мою речь в Москве, пил на этот раз за Ленинград и за ленинградских музыкантов, вообще нес какую-то посредственную ерунду.

Пташка была очень польщена, когда Оссовский поднялся еще раз и произнес тост в ее честь.

Затем нас снимали и как только было возможно, я сорвался удирать домой, ввиду репетиции завтра утром. И было время — мы попали в Европейскую половина четвертого, ужин же в нашем отсутствии продолжался до пяти.

10 февраля, четверг.

Утром первая оркестровая репетиция с Дранишниковым. Идти недалеко: Дворянское собрание против наших окон, только перейти улицу.

Как красив Колонный зал! Вообще сколько воспомина-

ний связано с детства с этим залом. А какое благоговение вызывал большой симфонический оркестр, так широко раскинувшийся на эстраде! Но теперешний филармонический оркестр не первого сорта. Среди музыкантов много молодого элемента, в том числе моих бывших товарищей по консерватории, которые когда-то играли в консерваторском оркестре под моим управлением. (Я, впрочем, лишь некоторых с трудом вспоминаю.) Много однако в этом оркестре осталось из старых грибов, попавших сюда по наследству из придворного оркестра, от которого, впрочем, и ведет начало теперешний филармонический оркестр. Некоторые из этих грибов до сих пор не привыкли к новой музыке и жмутся от неразрешенной секунды, как от укуса блохи.

— Кончится тем, что я когда-нибудь убью этого первого виолончелиста, — с раздражением сказал мне Дранишников в антракте.

Первую половину репетиции Дранишников посвящает сюите из Шута и возится с ней с большим увлечением. Из Дранишникова выработался отличный дирижер.

В антракте меня окружают бывшие консерваторцы из оркестра и спрашивают, на долго ли я приехал и собираюсь ли остаться на совсем.

— Не оставайтесь, — сами же они говорят мне, — если вы устроились за границей, так и живите там, а здесь совсем нехорошо.

Во второй половине репетиции Дранишников занимается Третьим концертом. Я сажусь за рояль и наигравшись с Персимфансом чувствую насколько легко и просто играть с дирижером. Но и тут мне подпортил Фейнберг, который играл здесь этот концерт и делал его в совершенно других темпах, так что на замечания Дранишникова, иные старые грибы обиженно возражали:

— А в прошлый раз нас заставляли играть совсем наоборот.

Среди других на репетиции были Асафьев и Щербачев, и по окончании ее, они, Дранишников, Пташка и я отправились завтракать. По дороге зашли в Европейскую и, пока Пташка задержалась наверху в номере, а мы стояли внизу в вестибюле, появилась Катя Шмидтгоф¹, след которой я потерял с 1917 года. Расцеловались и уселись в сторону. Я спросил:

— Ну как же ты поживаешь?

Но она печально показала на свою правую руку. Оказалось, что она ее потеряла еще в 1922 году, упав из трамвая. Она на ходу выпрыгнула из переднего вагона, упала и вторым вагоном ей и отрезало руку. А между тем, в то время она уже преуспевала в театре, катастрофа же пресекла ее театральную карьеру в корне. Сейчас она замужем за отставным моряком, как Лидуся, и имеет ребенка, немного моложе Святослава. Меня давно ждала и сторожила и рада, что захватила меня сейчас же после приезда.

Так как меня ждали, то разговор был не слишком долгий и мы с ней простились, условившись, что она придет на следующую репетицию моего концерта.

Затем вся наша компания отправилась завтракать. Но в Ленинграде как-то не было такого симпатичного ресторана, как в Москве на Пречистенке. Никто не знал, куда идти. Наконец попали в какое-то странное учреждение тут же напротив, где нас долго заставили ждать и накормили дорого и скверно.

Между тем пора уже было идти в Эрмитаж, где нам сегодня должны были показывать различные достопримечательности. Мы все двинулись пешком по Невскому, по дороге показывая Пташке Ленинград. Асафьев, Дранишников уехали по делам, а Щербачев отправился с нами в Эрмитаж, чтобы передать нас своей жене, которая служила там.

В Эрмитаже нас ввели через особый вход, так как мы являлись в качестве почетных посетителей. К нам вышел директор, Тройницкий, очень интересный и не лишенный шика господин, который, несмотря на то, что он бывший лицеист и совсем не большевик, уже много лет состоит во главе Эрмитажа, с необыкновенной ловкостью и умением управляющий им, несмотря на все подводные рифы, рождающиеся из соприкосновения с коммунистическим правительством.

Тройницкий лично повел нас осматривать сокровенную часть Эрмитажа — отдел драгоценностей. Это отдел, в который даже сам директор не так легко может попасть, ибо предварительно надо расписаться в книге, пройти через охрану и вообще проделать целый ряд формальностей. В комнате драгоценностей много красивого и любопытного, хотя я и не очень люблю все эти вещи несметной цены. Тут были и усыпанные бриллиантами уборы, и табакерки, и оружие царей, все это перели-

вавшее камнями всех цветов. Троицкий с небрежной элегантностью, за которой скрывалась большая гордость, показывал нам эти предметы, давая нам короткие объяснения, иногда роняя между ними шутку.

Из комнаты драгоценностей, где, между прочим, мы были заперты во время осмотра, мы прошли в скифский отдел, причем Троицкий удалился, а его заместил другой человек, специалист по этому делу. Здесь были особенно интересные изделия из мягкого золота.

После скифского отдела — персидский, и новый специалист, но осмотр уже длился несколько часов и мы устали. Через картинную галерею пробежали не останавливаясь, так как уже стемнело. Мы бросили лишь общий взгляд и посмотрели, какой огромный кусок отвоевал Эрмитаж от Зимнего дворца.

Совсем замучавшись, вышли мы наконец наружу. Однако Эрмитаж оказал нам большое внимание тем, что сам директор показывал нам секретное отделение его, а в последующих отделениях прикомандировывался к нам для объяснений специалист.

Выбравшись из Эрмитажа, мы отправились с визитом к Глазунову. Еще с консерваторских времен у меня с ним установились какие-то сомнительные отношения, но так как в Ленинграде он все-таки остался крупной фигурой, даже несмотря на то, что музыкальная жизнь идет теперь как-то мимо него, то еще в Париже решил, что по приезде в Ленинград буду приличен и отправлюсь к нему с визитом.

Я не помнил номера его дома; но знал его "в глаза" и без труда нашел его. Но парадный ход был закрыт. Я знал, что парадные были в Ленинграде закрыты еще с самого начала революции, но не думал, что это простиралось и до настоящего времени. Итак, надо было идти с черного. Мы вошли во двор. Двор огромный, с деревьями: купцы Глазуновы строили свой дом широко и просторно. Справившись у дворника, как пройти к Глазунову, мы стали подниматься по довольно скверной и грязной лестнице, пока на одной из дверей не увидели медную табличку, на которой было выгравировано "Глазунов", без имени и отчества.

Позвонили — ничего; еще раз позвонили и еще раз ничего. Постучали, на случай, если звонок не звонит — и опять ничего. Решили, что никого нет дома и начали вытаскивать визитные

карточки, чтобы бросить их в ящик для писем. Мороз был порядочный и даже здесь на лестнице пальцы леденели, как только снимешь перчатку. На прощание постучали еще раз, по сильнее, и услышали за дверью шаги. Затем дверь была отперта и мы увидели двух дам, одну молодую, другую постарше, но все же очень моложавую. Это были мать и дочь, причем мать была интереснее дочери.

Еще в 1918 году, приехавши в Нью-Йорк, я услышал от Вышнеградского, что Глазунов женился, но это звучало как анекдот. Рассказывали, что его жена консерваторка и совсем молодая девушка. Другие говорили, что это ерунда и что Глазунов и не думал жениться. Самое интересное это то, что и здесь в Петербурге в точности не знали, женат он или нет, и если да, то на ком, на матери или на дочке. Несомненно было одно, что эти две дамы, довольно живые и интересные, поселились у Глазунова и заботились о нем, а престарелому композитору нужна была женская рука, да вероятно и скучно было ему одному сидеть в своей огромной квартире, которую большевики, к чести их будь сказано, целиком оставили за ним.

Я объяснил дамам, что пришел с женой засвидетельствовать почтение Александру Константиновичу, а дамы объяснили, что его нет дома и очень радушно стали просить нас войти. Нас провели через кухню, а затем мы попали в залу, которая была мне уже знакома по тем давним временам, когда я приносил Глазунову мою симфонию е-моль, ныне погибшую за исключением анданте, вошедшего в переделке в Четвертую сонату.

Мы присидели минут десять-пятнадцать, причем дамы жаловались на режим, на трудность житья в советском Ленинграде, на постоянную видимую и невидимую слезку, на то, как какая-то дама хотела уехать, но как в последний момент ей кого-то подослали и к чему-то придравшись, отправили не за границу, а под арест и пр. и пр.² Мы стали прощаться, дамы радушно проводили нас до самой двери и мы поспешили домой, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть перед спектаклем Апельсинов. Дома письмо с приглашением в ложу дирекции и с приложением ложи для друзей и знакомых, но уже поздно и использовать эту ложу нельзя. Можно впрочем начать звонить по телефону, но предпочитаем посидеть спокойно и немножко прийти в себя.

Вскоре зашел Асафьев и мы вместе отправились в Мариинский театр, Пташка и Асафьев сели в первые санки, я сзади них во вторые, торопя извозчика, так как времени оставалось в обрез. Мелькнули Казанская, Вознесенская, Офицерская — все это такие знакомые места. Вот консерватория, а вот и Мариинский театр, перекрашенный в темно-красный цвет, наподобие того, как раньше был Зимний дворец. И хотя Зимний дворец я люблю темно-красным, все же мне жалко, что Мариинский театр расстался со своей прежней желтоватой окраской.

Мы подъезжаем прямо к секретариату, где нам предлагают сесть или в боковую ложу 1-го яруса или в партер, чтобы лучше все было видно. Я выбираю партер и секретарь проводит нас в 4-ый ряд у среднего прохода. Я счастлив вновь увидеть любимый Мариинский театр, оглядываю его несколько раз, но Дранишников уже у пульта, свет погашен и спектакль начинается, Пташка указывает мне на левую ложу и сцены: она заполнена трагиками, которые в этой постановке преподнесены, как рецензенты. Комики появляются на авансцене, но пустоголовые вновь появляются из ложи бэль-этажа с правой стороны, отсюда любопытно воспринимается контрапункт: один голос в правое ухо, другой в левое. Когда появляется герольд, то он сам играет тромбоны — трюк, о котором меня уже с гордостью предупреждал Дранишников:

— У нас есть такие певцы, которые даже на тромбоне играть умеют.

А рядом с ним маленький мальчик, который вообще ничего не делает, — очень смешно.

Все эти маленькие выдумки, как-то сразу с необычайной остротой ввели меня в спектакль — видно было, что постановка была схвачена с увлечением и талантом.

Далее последовал ряд трюков и каждый из них меня веселил: тут и Труфальдино, которого зовут из залы, но который прилетает сверху сцены (кукла, моментально подменяемая человеком), тут и совершенно фантастический ад, разросшийся до подавляющих размеров, с куклами, плавающими и кричащими во всех этажах сцены, и маг Челий, забавно трактованный, как елочный дед-мороз, и стол со спрятанной под ним Смеральдиной, который бегаёт за Леандром, чтобы лучше послушать его заговор с Клариче. Заклинание, которым кончается I акт,

поставлено всерьез, с нестерпимым мельканием зеркальных бликов на заклинающих, придающих им фантастический характер.

Во II акте, в сцене празднества, навешены трапеции, на которых сидит часть действующих лиц. Относительно этих трапещий я уже слышал два противоположных мнения: одни считают их замечательным изобретением, позволившим заполнить всю сцену до верху действующими лицами, другие же находят, что эти действующие лица, парализованные страхом свалиться, представляют собой жалкие фигуры. Я последнего однако не нашел и сцена мне понравилась. Драка уродов однако не удалась, как не удалась она во всех предыдущих постановках. Когда Труфальдино толкает Фату Моргана и она должна упасть, задравши ноги, то оказывается, что у нее под юбкой привязана вторая пара искусственных ног, которые она и вскидывает — эффект уморительный. Следующая однако за этим темнота как-то прерывает действие и я решаю, что эту темноту надо отменить. Чертенята во время заклинания Фаты (равно как и раньше, в inferнальной сцене) завывают в рупоры, согласно моей рекомендации, и это выходит хорошо и страшно.

В III акте Челий вызвав Фарфарелло, сам его боится; Фарфарелло же не только поет, но все время приплясывает, о чем опять-таки мне с гордостью сообщил Дранишников. Когда Челий останавливает Принца и Труфальдино, то он для этого появляется на мостике, перекинутом высоко наверху сцены, и эффектно ведет переговоры сверху вниз; оттуда же он бросает красный бантик. Совершенно ошеломляюще проходит разговор Принца с Труфальдино в замке Креонта, перед покражей. Этот труднейший разговор на фоне стрекочущих скрипок, который Дранишников ведет в сумасшедшем темпе, не только спет с совершенной точностью, но и непринужденно разыгран на сцене. Сама покража Апельсинов сделана тоже аккуратно, вместе с музыкой. Заключительная фраза III акта ("Его апельсин подгнил"...) произнесена Леандром прямо в публику, слишком уж саркастично пожалуй.

В IV акте Фата Моргана вступает в форменную драку с елочным магом и даже отрывает ему бороду. Чудаки засаживают ее не в башню, а в клетку, которую вытаскивают по этому случаю на сцену, и там она сидит, как животное. В крысу стреляют из пушки и на помощь Король зовет испуганным голосом. Заключительная беготня поставлена более внимательно,

чем где-либо до сих пор. Подпущены акробаты, которые оживляют движение толпы, но зато уменьшают впечатление стремительности. В общем беготня поставлена почти хорошо, но еще не совсем хорошо. Совсем хорошо она пока поставлена не была нигде.

В конце I антракта, когда уже публика собиралась в зал, перед спущенным занавесом появился Вольф Израиль, который сообщил публике о моем присутствии в зале и приветствовал меня. Публика устроила мне овацию, хотя и не такую горячую, как в концертах. Это вполне понятно: на концертах публика приходила специально видеть меня, а тут вообще пришла в театр, а потому мне менее обрадовалась. Во II акте я сидел не в партере, а в ложе и в ответ на аплодисменты вставал и кланялся из ложи. Во II и III антрактах меня тоже вызывали и я тоже кланялся.

Между прочим, этот Вольф Израиль, как раз тот виолончелист Мариинского театра, который больше всего скандалил при первом проникновении моих сочинений на концерты Зилоти и особенно при первом исполнении Скифской сюиты. Ловкий политик Зилоти³ сумел ему в то время заткнуть рот, предложив выступить в концерте с моей же балладой для виолончели. Времена меняются, и теперь именно этот Вольф Израиль приветствовал меня.

В следующем антракте меня пригласили в артистическую оркестра и Вольф Израиль сказал мне небольшую речь от имени оркестра. Я отвечал, очень искренно приветствуя замечательный оркестр, затем следовали поцелуи, разговоры, и все как следует!

В другом антракте артисты меня потащили к театральному фотографу, тут же в верхнем этаже театра, и он снял группу участвующих со мной по середине. В гостиной, прилегающей к ложе дирекции был сервирован чай с пирожными, закусками и вином. Тут Экскузович, Ершов, Малько, Оссовский, дирижеры, словом, целое празднество. Я ошеломлен и в восторге от изобретательной и необычайно оживленной постановки Радлова и обнимаю моего старого шахматного партнера. Благодарю также художника Дмитриева⁴, но не нахожу для него достаточно живых слов, так как декорации бледны и вообще являются худшей частью спектакля.

По окончании спектакля, Дранишников уводит нас к се-

бе чай пить. Тут же Асафьев с женой и Радлов⁵ с женой. О том, женат ли Дранишников, не вполне ясно, но в квартире с ним живет довольно милостивая женщина, кажется из балета Мариинского театра, и исполняет обязанности хозяйки. Появляются шахматы, но крокодилы не играют, то есть я, Радлов — голова не тем занята, а пробуют сразиться Пташка с женой Асафьева, причем неизвестно, кто из них играет хуже.

Радлов вспоминает Чудовского, который уж несколько лет, как в ссылке, в связи с каким-то политическим делом, с которым он по существу не имеет никакого отношения.

Вернулся домой в 2. Пташке очень нравится Ленинград.

11 февраля, пятница.

Среди сумасшедших ленинградских дней (да и московских перед тем), сегодняшний день, день отдыха, ибо еще при первой встрече в Москве, Асафьев гарантировал себе этот день, чтобы мы провели его в Детском Селе.

Встали не торопясь и в 12 часов сели в поезд на Царско-сельском вокзале. Этот поезд, раньше такой элегантный, теперь состоял только из жестких вагонов и шел немножко медленнее. Публика едет довольно серая, однако наша более нарядная одежда и пташкин леопард не производят впечатления.

Асафьев нас радостно встречает в Детском Селе на вокзале и мы пешком по ослепительному белому снегу отправляемся к нему. Он живет в большом просторном деревянном доме, неподалеку от вокзала, на краю Детского Села, так что с одной стороны город, а с другой — просторное снежное пространство. Он занимает во втором этаже три чрезвычайно просторных комнаты — часть квартиры, некогда принадлежавшей приставу. Обстановка — уездного русского города, и она вместе с ярким солнцем и снежной далью, открывающейся из окон, переносит нас в какой-то совсем иной мир.

Первая комната — столовая, в которой свободно может сесть за стол человек двадцать. Вторая комната — его кабинет, третья — спальня, но туда нельзя, так как там сидят две сердитые собаки. Одну из них Асафьев подобрал где-то паршивым щенком, щенок страдал подкожной экземой и Асафьев несколько месяцев мазал его вонючим составом. Теперь собака

выздоровела, но совсем одичала, так что ее к гостям не выпускают. Но так как мы пробыли у Асафьева целый день, то ее раза два приходилось выводить на прогулку, причем она щети-нилась, рычала и царапала когтями по полу.

Асафьев рассказывает, что во время одной из прогулок, собака вдруг кинулась на козу. Но коза не испугалась и встав в боевую позицию, встретила ее лбом, после чего завязалась бешеная драка. Увидя приближение хозяев козы, Асафьев в ужасе стал оттаскивать свою собаку за задние лапы. Надо именно знать Асафьева, этого кабинетного человека, чтобы вообразить всю эту сцену. В конце концов собака была оттащена и они оба юркнули в ближайшую рощу, прежде чем владельцы козы успели прибыть к месту происшествия.

Мы решили воспользоваться солнечной погодой и пока еще не стемнело, отправиться на прогулку. Пташка чувствовала себя утомленной от предыдущих скачек и потому она с женой Асафьева поехали на извозчике, мы же с ним отправились пешком.

Как красив зеленый Елизаветинский дворец! Мы долго на него любовались. Но одна из примыкающих к нему улиц переименована в улицу Белобородова, в честь того коммуниста, который расстрелял Царскую Семью. Это уже поза на бестактность: если для дела считалось необходимым расстрелять и взрослых и детей, то форсить этим — глупо.

От Елизаветинского дворца мы с Асафьевым, утопая в снегу, отправились по бывшим царским садам. Однако пора было идти домой: во-первых, очень холодно, во-вторых, безумно хотелось есть.

Угостил нас Асафьев на славу. Уже с половины обеда не хватало места для второй половины. Затем уселись за письмо Экскузовичу.

Вчера после спектакля, секретарь Экскузовича намекнул мне, что хорошо бы, чтобы я написал два слова о моем впечатлении от спектакля. Намек был излишним, так как я и без того хотел это сделать. Сейчас я решил использовать общество Асафьева, дабы вместе с ним проредактировать это письмо.

Затем Асафьев показывал мне брошюрку, выпущенную им обо мне в связи с постановкой Трех Апельсинов и просил исправить в ней неточности, если таковые попадутся.

Хотели заняться просмотром набросков книги Асафьева

обо мне, которую он готовил для нашего издательства, но так заболтались, что не успели.

В 10 часов вечера отправились домой. Узнав, что мы проводим день у Асафьева, к нему пыталась под предлогом какой-то справки проникнуть Вера Алперс¹. Но Асафьев, ревниво оберегая мой день, посвященный ему, ее не допустил. Впрочем, об этом я узнал лишь позднее.

Вернувшись в Европейскую гостиницу, нашли две визитных карточки Глазунова. Как корректный джентльмен, он отдал визит на другой же день. По этому поводу вспомнилось, как почти двадцать лет тому назад моя мать в первый раз привела меня к нему. И с той же корректностью он через несколько дней заехал к маме отдать визит, хотя казалось бы мамашам, приводящим молодых талантов к знаменитости, можно было бы визитов не отдавать. Но не потому ли это случилось, что это был единственный момент, когда Глазунов надеялся, что из меня выработается приличный композитор?

Кроме карточек Глазунова, были еще два письма экспресса из Москвы. Дней пять тому назад в Москве ко мне обратился с письмом какой-то Гивнин. Письмо было трогательное, слезное, он — начинающий талант, находится в ужасных условиях и просит о помощи. Я решил, может и в самом деле талантливый человек и перед отъездом из Москвы написал ему два слова, спрашивая его, какую и в каком размере он хотел бы от меня получить. Один из полученных сегодня экспрессов был от Гивнина, где тот восторженно, почти преувеличенно благодаря меня за внимание, высказывает свои чаяния, которые идут кажется от 500 рублей и кверху.

Другой экспресс, написанный гораздо более интеллигентным почерком и стилем, предостерегает меня, что Гивнин простой бездельник и развратник, и только и ищет, где бы сорвать копейку, дабы промотать ее, в ночном кабаке. Однако этот донос на Гивнина анонимен. Вот извольте после этого быть внимательным к будущим талантам!

12 февраля, суббота.

Утром репетиция в Колонном зале. Дранишников впрочем репетировал и вчера, пока мы катались в Царское: учил Шута и Скифскую.

В зале набралось довольно много народу, но им велено сидеть за колоннами и не мешать. Дранишников начал с Скифской сюиты, причем я внес ряд поправок в темп и звучность. Затем последовал Шут и Третий концерт, который выходил недурно.

Появляется Малько и сообщает, что Филармония готова рассчитаться с нашим издательством за все прошлые незаконные исполнения моих сочинений, то есть те исполнения, которые производились по писанным, а не напечатанным в издательстве экземплярам.

Поднеся таким образом приятную конфетку, он пользуется случаем попросить меня быть полюбознее с Хаисом, "которого подобное отношение удручает".

Катя Шмидтгоф, которой я дал карточку для пропуска на репетицию, сидит рядом с Пташкой. К Пташке также присаживается Книппер, молодой московский композитор, приехавший сюда говорить с Эскузовичем относительно своего балета. Книппер все время старательно ухаживает за Пташкой.

После окончания Третьего концерта Тюлин и некоторые другие подходят ко мне и говорят о замечательной перемене в моем пианизме.

День провели тихо и спокойно, ввиду предстоящего концерта я отказался от каких-либо встреч и свиданий.

Когда вечером мы пришли в артистическую, то встретили Асафьева, который сообщил о сделанном им намеке Малько относительно несоответствующего гонорара, который они мне платят. Малько обещал обдумать это и если возможно, изменить условия к лучшему.

В зале куча народу, то есть не просто куча, а феноменальная куча. В Москве пожарная комиссия допускает только сидячую публику, не разрешая стоять. Здесь же Хаис, который оказался не только ловок в смысле устраивания выгодных для Филармонии гонораров, но также в смысле устройства декоративной стороны концертов, добился разрешения на впуск и стоячей публики, причем это разрешение было использовано в такой мере, что зал был буквально черен от наполнившего его народа.

Первым номером шел Шут, после которого начались вызовы. Но я, повторяя московский ритуал, не вышел. Второй номер был Третий концерт. Когда публика успокоилась после

Шута, был выкачен рояль и затем меня пригласили на эстраду. При моем появлении Дранишников заиграл "Славу" и началась колоссальная овация, приблизительно как в первый раз в Москве. Описывать ее дважды не стоит, но попутно с нею случился забавный инцидент: когда "Славу" сыграли уже два раза и начали играть в третий раз, то какие-то громогласные инструменты вступили на такт позже и так каноном и проиграли третий раз; остановиться было невозможно, потому что кончили не вместе и Дранишникову пришлось сыграть четыре раза, хотя вообще полагается ее играть три раза.

Третий концерт проходил благополучно. Я относительно спокоен, хотя еще не могу похвастаться тем замечательным спокойствием, которым наслаждался во время последнего американского турне. Между отдельными частями концерта аплодисментов нет, но зато в конце такой же рев, как в Москве. Сначала я выхожу кланяться один, потом несколько раз с Дранишниковым; играю на бис гавот и две мимолетности. Приносят корзину цветов, впрочем небольшую.

Антракт. Приходит Оссовский и передает привет от Глазунова. Он был на концерте, но должен был уехать на какое-то заседание, куда сейчас уезжает и Оссовский. Словом, Глазунов вывернулся ловко: с одной стороны показался из приличия на концерте, с другой — под благовидным предлогом увильнул от встречи со мною.

На смену Оссовскому появилась группа — Штейнберг¹, Вейсберг² и Андрей Римский-Корсаков³ — консервативная музыкальная оппозиция, еще со времен дореволюционных, когда эта группа бурно ссорилась с Сувчинским и Асафьевым, защищавших Стравинского, Мясковского и Прокофьева. Однако группа теперь смирилась и с чрезвычайной готовностью приветствовала меня, не потому ли, что в противном случае им не на кого ставить?

Затем появились Корнеевы, как всегда очень декоративные, Остроумова-Лебедева, сестры Боровского, к удивлению пренемерно выглядевшие, брат и сестра Алперсы — брат еще более нервный, сестра еще более увядшая. Откуда-то из тьмы веков выплыла Рудауская, впрочем мало изменившаяся, чуть лишь поглубевшая, но с такими же хорошенькими глазками.

Антракт кончается и Дранишников играет Скифскую. Оркестр гораздо хуже Персимфанса, менее добросовестный и

не так звучащий, но Дранишников машет с увлечением, на славу.

После Скифской сюиты, успех по-видимому превзошедший все до сих пор существующее: весь зал, особенно стоячая публика, дико орет. Я выхожу кланяться один, потом с Дранишниковым, потом опять один, несчетное количество раз, вероятно раз пятнадцать, причем все время орут.

В то время как я то выходил, то возвращался обратно в артистическую, в последней разыгралась забавная сцена — стоял Экскузович, а по бокам его Асафьев и Дранишников, которые при каждом новом вызове накачивали его необходимостью ставить Игрока и Шута. Экскузович имел впрочем очень довольный вид, сел, был страшно любезен со мной и рассыпался перед Пташкой.

Артистическая вновь наполняется знакомыми. Появляется Элеонора Дамская⁴, раздавшаяся и еще более подурневшая. Я с нею вежлив, но сух и сейчас же перехожу к кому-то другому, желающему поговорить. Но Элеонора не теряет линии и через жену Асафьева знакомится с Пташкой, сообщая последней, что она сохранила кое-какие фотографии в момент разгрома моей квартиры на Первой роте. Пташка добавляет, будто ей послышалось, что Элеонора сохранила какие-то письма — вот этого еще недоставало, чтобы моя переписка из разгромленной квартиры попала в ее руки. Впрочем относительно писем Пташка не уверена, на фотографии же она падка, коллекционируя то, что осталось от моей юности и поэтому была любезна с Элеонорой.

После концерта едем к Радлову, как было условлено раньше. У Радлова отличная квартира и отлично сервированный чай с закусками. Там же встречаю профессора Смирнова, шахматиста, и поэта Кузмина⁵. Последний за чаем читает стихи, заикается и шепелявит, но выходит выразительно. Я сию секунду и с любопытством рассматриваю его череп, совершенно сверху плоский, как будто ударом шашки снесли крышку его черепной коробки. Одет он бедно, пальто у него дырявое. Когда мы одеваемся в передней, то мне как-то стыдно за мое парижское на новой шелковой подкладке, по которой он скользнул глазами.

Выходим все вместе. Морозная ночь, три часа утра. Ленинград обыграл Москву в смысле успеха.

13 февраля, воскресенье.

День более спокойный. Я принимаю посетителей. Является Вейсберг (!) и Добычина¹. Последнюю я помню всегда милой, простой и сердечной. Бенуа рассказывал, что у нее теперь большие связи в коммунистических верхах и вследствие этого она в зависимости от желания может быть очень полезной или очень неприятной. Сегодня вид у нее похоронный и говорит она тихим голосом. Дело в том, что вчера на концерте она уже намекнула мне, что Кружок Камерной Музыки, председательницей которого она состоит, — при последнем издыхании за отсутствием средств. Нечем платить за помещение, и если я не протяну им руку помощи, дав концерт в пользу этого кружка, то он погибнет. Вчера на концерте я как-то отвертелся от ее наступления, но сегодня она явилась в сопровождении Вейсберг и тихим голосом стала на меня нажимать. Мне же не только не хотелось давать еще лишний концерт (лучше поехать к Асафьеву в Детское), но я кроме того знал, что таких кружков несколько и если я сыграю для одного, то надо играть для другого. Словом, после двадцати минут мучительных отказов, я наконец сбыл обеих дам с рук, ибо меня ждали уже следующие группы.

Вторая группа была менее тягуча, но более опасна: тут тоже хотели концерт, но на этот раз в пользу МОПра, а это, по расшифровке означало в пользу международного общества помощи революционерам, то есть, если бы я дал такой концерт и если бы коммунисты это всюду разрекламировали, то мне ни одно государство не дало бы больше визы, ибо это не российское общество, а именно международное учреждение поощрения микробов, вызывающих брожения. Впрочем, я это дело ликвидировал просто и откровенно, сказав:

— Вы понимаете, я очень хотел бы вам помочь, но так как мне приходится много концерттировать по границам (а чтобы я концерттировал за границей — важно для советской России), поэтому было бы осторожнее меня не втягивать в это предприятие, дабы мои заграничные концерты не встретили препятствий.

Мое объяснение было настолько простым и точным, что они сразу согласились со мной и удалились, дав место Балаеву, когда-то моему учителю русского языка в консерватории.

Балаев — старичок, теперь он директор гимназии. Здесь тоже требовалось мое выступление в пользу чего-то, но он сам честно прибавил, что хотя исполняет желание пославших его, но вполне понимает безнадежность своей просьбы. Таким образом, третий проситель был ликвидирован безболезненно и мы расцеловавшись расстались.

Днем пришлось пойти на общедоступный филармонический концерт: вчера очень просил Малько и даже взял с меня слово. Нас провели на почетные места в бывшую царскую ложу. Концерту предшествовала лекция, которую читал Карнович, вариации которого я дирижировал лет пятнадцать тому назад на консерваторском акте, когда он оканчивал консерваторию, а я был участником дирижерского класса. Вероятно по заранее установленному с Малько плану, он в одном месте свою лекцию повернул так, что она коснулась и меня, хотя мои сочинения на сегодняшнем концерте не исполнялись. Это дало повод, чтобы указать с эстрады на меня, сидевшего в ложе, публика зааплодировала, я встал и кланялся.

На этом же концерте исполнялись несколько романсов Римского-Корсакова в корсаковской же оркестровке. Эти партитуры всего лишь недавно раскопаны в архиве покойного композитора и сегодня они зазвучали в первый раз, впрочем зря, ибо оркестрованы они бледно, совсем не по-корсаковски.

Вернувшись со концерта собирали чемоданы, ввиду отъезда в Москву. Ехали мы в Москву всего на несколько дней, дабы затем снова вернуться в Ленинград.

Когда на санках мы подъехали к Николаевскому вокзалу, наш извозчик остановился бок о бок с другим извозчиком, — наши лошади вдруг взыграли. Не то наша лошадь заинтересовалась соседней кобылкой, не то просто она была бешеная, только начала выделывать такие прыжки и фортели, что оглобли затрещали. К тому же оглобля сцепилась с оглоблей и нельзя было двинуться ни вперед, ни назад. Пташка, сидевшая со сцепившейся стороны, заволновалась и закричала:

— Вылезай, вылезай скорее!

Но это было не так просто, так как полость была застегнута и завалена чемоданами. Пока я пытался выбраться из нее, лошадей разъединили и Пташка спохватилась, что впопыхах пропала ее сумочка. Мы стали смотреть направо-налево, в это время услышали уже в шагах пятнадцати позади нас какие-то

восклицания. Оказалось, что упавшую в снег сумочку подобрала баба и стала быстро удаляться, но ее уличил какой-то пьяный человек, сумочка была отобрана и возвращена нам. Собравшаяся толпа выражала негодование по поводу происшедшего, а пьяный человек стал требовать с меня рубль за спасение. Требовал он очень энергично, но столько энергии и не требовалось, так как я с большой охотой дал ему этот рубль. Пьяный удалился под восклицания толпы:

— Стыдно гражданин, зачем же вы деньги вымогаете.

У нас было опять тоже купе в международном спальном вагоне. В этом же вагоне ехали в Москву Экскузович и Асафьев, а в соседнем — главный режиссер Мариинского театра — Рапопорт, очень напоминающий мне бога Доннера из Золотого Рейна. Вся эта встреча предвиделась заранее и было решено ее использовать для переговоров о будущих постановках моих вещей в Мариинском театре.

Вскоре после отхода поезда все собрались у меня в купе. Разговор касался прежде всего будущей постановки Игрока, причем Экскузович обещал отдать мне мою оригинальную партитуру, застрявшую у него в библиотеке Мариинского театра, а я обещал, что премьеры Игрока будет в Мариинском театре, о чем, впрочем, мы уже говорили два года тому назад в Париже. Кроме Игрока, намечался еще балетный спектакль, в который вошли бы Шут, Ала и Лоллий и, если удастся добиться разрешения от Дягилева, то мой новый советский балет.

На мой осторожный вопрос о Мейерхольде, как режиссере Игрока, ибо он должен был ставить и в 1917 году, Экскузович ответил охотным согласием.

Вообще, Экскузович был интересен, даже блестящ и старался шармировать. Асафьев сидел в углу и по большей части молчал, а что такое Рапопорт — осталось для меня загадкой. Я интересовался, в какой мере он коммунист, ибо он ни с того, ни с сего затеял разговор о том, что хорошо бы, если бы я написал что-либо к предстоящему десятилетию октябрьской революции. Впрочем, эта тема была поддержана вяло и замерла.

Говорили еще о Трех Апельсилах, о возможности поездки с ними за границу и о необходимом исправлении в связи с этим некоторых промахов постановки.

— Вот подождите, — говорил Экскузович, — брошу я надевшее мне директорство и сделаюсь режиссером. Тогда посмотрите, как я поставлю Апельсины.

Заседание кончилось и все разошлись по своим купе. Я задержал Асафьева и спросил, не было ли неприятно Экскузовичу, что я заговорил о Мейерхольде. Асафьев:

— Наоборот, он очень доволен, что через тебя можно получить Мейерхольда. Так к нему было обратиться неудобно, а через тебя дело выйдет очень ловко.

14 февраля, понедельник.

Утром Москва и на вокзале Цуккер. В Метрополе тот же номер, который в наше отсутствие не сдавали и хранили за нами за пол платы.

Сразу начались телефонные звонки, тех, кого я отложил до моего возвращения из Ленинграда. Перед отъездом из Москвы было очень удобно всех просить позвонить в день моего возвращения, теперь же приходилось расхлебывать. К тому же у меня была тяжелая голова, я чувствовал себя усталым и даже днем спал.

Вечером торжественный юбилей пятилетнего существования Персимфанса. Я подчеркнул, что приехал из Ленинграда как раз ради этого юбилея и даже мой последующий концерт для беспризорных был прилажен к этому поему приезду на юбилей.

Концертная программа юбилея состояла из двух относительно коротких номеров — Поэмы Экстаза и Скифской сюиты, исполнением которых особенно гордился Персимфанс. Ввиду торжественного случая, я в первый и последний раз одел смокинг, но это пожалуй оказалось не кстати, ибо в толпе я выглядел каким-то инородным телом, свалившимся из-за границы. Смокинг в сущности никто не носит, за исключением пожалуй некоторых артистов, с успехом съездивших за границу и своим смокингом подчеркивающих свою причастность к иностранным успехам. На моих концертах я, по крайней мере, в смокинге видал только двух — Сараджева и Яворского.

Нас посадили в восьмом ряду, рядом с папашей Цуккера и здоровенным красноармейцем, который видимо скучал за Поэмой Экстаза, но впоследствии сказал довольно сильную речь, будучи делегатом от какого-то учреждения, для которого когда-то выступал Персимфанс.

После Экстаза, эстрада была очищена, направо был водружен большой стол для почетного комитета под председательством Луначарского, а за столом были посажены делегаты, которые затем выступали с приветственными речами. С левой стороны расселся Персимфанс, с Цейтлиным во главе. Последовал мильон речей, которые в начале интересно было послушать, а потом просто приходилось высиживать, ибо уйти было разумеется нельзя.

Луначарский говорил очень талантливо и любезно, хотя Персимфанцы утверждают, что за всю их пятилетнюю карьеру он не оказал им ни малейшей поддержки, а казалось бы такому коммунистическому по своему духу институту, как оркестр без дирижера, на чью же рассчитывать поддержку, как не на наркомпросскую!

Говорил также Сосновский, тот, который монотонно заморил меня в антракте одного из моих концертов, но на этот раз говорил он довольно недурно.

Выступила еще масса других лиц — от театров, консерваторий, рабочих организаций и пр. Говорил также Держановский, но его хриплый голос не был слышен.

Наконец антракт и обратное водворение всех стульев и пюпитров на эстраду. Играли Скифскую сюиту. Пляска нечисти вызывает громкие аплодисменты. Довольно настойчиво вызывают меня, но я не встаю, так как сегодня не мой день. Однако в конце Скифской сюиты новые вызовы по моему адресу, на этот раз аплодирует и Цейтлин с эстрады. Тогда я встаю и иду к эстраде, чтобы пожать руку Цейтлину. Он протягивает мне руку и сильным движением поднимает меня наверх на эстраду, причем мы оба, потеряв равновесие, едва не летим обратно. Прежде чем раскланяться с публикой, я трясую руку Цейтлину, поздравляю его с юбилеем и затем мы публично целуемся. Вообще какую-то демонстрацию внимания надо было сделать, потому что я до сих пор никак их не приветствовал по поводу юбилея.

После спектакля — ужин. У меня болит голова, хочется спать и кроме того завтра концерт, но уклониться от ужина невозможно — уж и так многие видные лица, на которых рассчитывали, на ужин не являются. За столом на почетных местах, приборы с карточками Луначарского и Литвинова пустуют. Чувствуется, что ужин не совсем удачен.

Как и всегда, много тостов. Намекают и мне, но я уклоняюсь, объясняя, что мой тост я сказал еще полчаса тому назад в лице Скифской сюиты. Один из критиков воспевает индустриализацию деревни и предлагает, чтобы музыка более и более машинизировалась. Тут же мне хочется встать и провозгласить тост за Ганона, впрочем, меня удерживают за фалды, так как такой тост был бы не кстати.

К часу ночи ужин оживляется, так как все уже подпили (но не я). Довольно беспорядочные тосты следуют один за другим, пользуясь этим и напоминая Цуккеру о моем завтрашнем концерте, я делаю знак Пташке и мы удираем. Однако мы усажены в такое место, что удрать потихоньку нельзя. Приходится двигать столы, стулья. Кто-то еще раз выражает желание, чтобы Прокофьев сказал речь, и под это пожелание мы исчезаем.

15 февраля, вторник.

Голова прошла. Можно поупражняться к концерту, а то вчера совсем не играл, да и в последние дни пребывания в Ленинграде тоже не играл.

Завтракали на Пречистенке вместе с Асафьевым.

Когда третьего дня мы заседали в купе, то все они, Асафьев, Экскузович и Рапопорт ехали в Москву на важное заседание, относительно театральной политики — совещание, которое должно было по существу решить все последующее направление театральных репертуаров. Состоялось оно вчера, а сегодня за завтраком Асафьев с увлечением рассказывал о прошедшем.

Бой был между двумя лагерями: коммунистическим, желающим из театра сделать прежде всего орудие пропаганды ("коль на рабочие деньги, так чтобы в пользу рабочему классу"), и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был театром, а не политической ареной ("коль на деньги рабочих, то чтобы рабочим было интересно").

Соль в том, что коммунистическую точку зрения защищали разумеется коммунисты, а театральную — некоммунисты, а может и антикоммунисты, а потому последних можно было в любой момент обвинить в контрреволюции и следовательно им надлежало быть очень осторожными и скромными.

Началось с того, что Экскузович выпустил Асафьева читать доклад об опере, который по собственному его признанию, кроме скуки на заседающих, другого впечатления не произвел, и он сам перепрыгнул через добрую половину доклада, лишь бы поскорее кончить.

Яворский, человек довольно высокопоставленный среди музыкальных чиновников, прочел тоже что-то такое малоопытное, заботясь прежде всего, чтобы его не могли обвинить ни с той стороны, ни с другой.

Луначарский же, председательствовавший совещанием, предпочитал молчать: по положению он коммунист, но по вкусам эстет и театрал, а потому ему тоже надо было лавировать. Этим воспользовались присутствовавшие на совещании коммунисты и принялись громить театралов, резко и грубо, без всякой любви к театральному делу.

Тут поднялся Мейерхольд — с одной стороны коммунист и почетный красноармеец, с другой стороны яростный театрал. Он начал следующим образом:

— Товарищи, прежде всего попрошу вас не перебивать меня: я очень волнуюсь, только что выпил валериановых капель и за себя не ручаюсь. Помните, прошлый раз, когда меня перебивали, то что вышло?

(О том, что вышло в прошлый раз, Асафьев не знает, так как он отсутствовал, но по-видимому вышло что-то очень неприятное).

— Вы, товарищи коммунисты, по-видимому плохо осведомлены о том, чего хотят товарищи рабочие.

(Мейерхольд роется в карманах и вытаскивает оттуда письмо.)

— А вот обращение ко мне рабочих такого-то завода, у которых мы выступали.

(И он читает просьбу давать вещи драматические или комические, но ни коим образом не назидательно-политические).

— Что же, товарищи коммунисты, вы хотите такие пьесы, чтобы рабочие перестали ходить к нам в театр? А если театры будут пустые, то коммунистическому правительству придется увеличить субсидии на поддержку их. А чьи деньги будете на это вы тратить? Рабоче-крестьянские, то есть заставите платить рабочих за пустой театр, вместо того, чтобы они платили за наполненный, то есть доставляющий им удовольствие.

К концу своей речи Мейерхольд так раскричался, что получился скандал и объявили перерыв. Луначарский говорил, что он вообще мечтает уйти из наркомпроса, но урадкой хихикал себе в усы. Чем дело кончилось, Асафьев не знает, так как он уехал, но во всяком случае, он говорит, что только Мейерхольд мог произнести такую сногшибательную речь, ибо бояться ему нечего, так как посадить почетного красноармейца в тюрьму неудобно, а выслать за границу — так Мейерхольд отлично и за границей устроится и потеряет лишь Москва¹.

За этими рассказами прошел весь завтрак, а затем мы вместе шли по улице.

Ввиду телеграммы от Дягилева, спрашивающего относительно Якулова, я звонил по телефону последнему. Но Якулов оказался в Тифлисе и я говорил сначала с его женой, потом с братом. Брат обещал телеграфировать ему в Тифлис. Значит Дягилев решил всерьез ставить мой балет, следовательно вступит в свои права исключительного обладания этим балетом на три года, а потому вопрос о постановке его в Мариинском театре в числе одного из трех балетов прокофьевского балетного спектакля, отпадает.

Искали с Асафьевым, чем бы дополнить этот спектакль. Мне приходило в голову взять увертюру и матлот, написанные два года тому назад для Романова², прибавить к ним три или четыре номера из квинтета и присочинить один или два связывающих номера, в которые входили бы темы из того и другого. Если все это оркестровать и придумать к этому сюжет, то между делом мог бы родиться новый балет.

Вечером отправил Пташку в Большой театр на Китеж³, а сам отправился в Колонный зал, давать концерт для беспризорных. Какой-то скептик сказал:

— Это не для беспризорных, а для пуль беспризорным, ибо нет другого способа от них избавиться.

Очень приятно было играть в нарядном Колонном зале, который гораздо красивее большого зала консерватории, да и звучит здесь лучше. Сегодня я играл лучше, чем ту же программу в первый раз 4 февраля, но все же в финале Четвертой сонаты, все четыре пассажа с перехватыванием обеими руками гамм — мимо. В конце вечера огромный успех. Я бисирую маршем из Апельсинов и гавотом из Классической. В зале рев.

На концерте была Надя Раевская, которая пришла ко мне

в артистическую с интересной рыжей дамой, артистической студии Вахтангова. Она жена Надиного бо-фрэра — Шереметева, которого я уже видел, но фамилии ее я не запомнил⁴. Затем явились благодарить меня представители комитета по ликвидации беспризорности: мужчина и древняя старушка. Последняя была трогательна, говорила:

— Если я умру, не забудьте беспризорных. У нас ведь план ликвидировать их в три года, и работа ведется строго по этому плану, но для осуществления его нужны средства.

Затем она еще раз благодарила меня за концерт в их пользу. Я отвечал:

— Ликвидация беспризорных — общее дело. Я работал на это дело час, а вы посвящаете все ваше время, потому не вы должны благодарить меня, а мы вас.

16 февраля, среда.

В 10 часов утра уже ввалился Асафьев и Мейерхольд. Почетный красноармеец теперь такая важная личность, что я был даже удивлен тою простотой, с которой он явился ко мне, для того, чтобы принять на себя постановку Игрока. Но не потому ли он держит себя так просто, что я в Париже являлся к нему спозаранку, чтобы возить его на дягилевскую репетицию. Сегодня он сразу заявил, что с удовольствием возьмется за постановку Игрока и таким образом это дело слажено. А раз Мариинский театр специально для этого заполучает себе такого кита, как Мейерхольд, то значит спектакль будет с треском.

Я говорил Мейерхольду, что прежде чем приступить к переделке Игрока, а переделка будет основательная, я хотел бы, чтобы он высказал бы свои пожелания относительно выправления моего старого либретто, если где-либо это требуется. Особенно меня беспокоила в этом отношении последняя картина. Мейерхольд:

— Мы непременно поговорим о различных деталях, как только вы вернетесь из вашей вторичной поездки в Ленинград, то есть через неделю. Тогда приходите ко мне обедать, а я постараюсь еще достать Андрея Белого, если вы ничего не будете иметь против этого.

Я:

— Наоборот, я буду рад, я очень люблю Белого, но разве он компетентен в делах сценических?

Мейерхольд:

— О да, он отлично чувствует сцену и сейчас очень интересно переделывает для меня один из своих романов.

На этом мы расстались. Немножко позже зашел за мной Мясковский и повел меня в Музсектор, находящийся в бывшем магазине Юргенсона, где меня ждал Юровский для урегулирования со мной вопроса об издании моих старых сочинений, принадлежавших раньше Юргенсону и Гутхейлу и с революцией перешедших во власть Музсектора. Но Музсектор экспроприирует только издателей, то есть пауков, а композиторов он обижать не желает. Еще сомнительно положение композиторов, живущих за границей, но Мясковский, пользующийся большим влиянием в Музсекторе, и вся его группа, все время поддерживали мысль, что я совсем не эмигрант, а человек, легально, с советским паспортом, выехавший на продолжительный срок за границу. Мой теперешний приезд окончательно укрепил эту позицию и таким образом перед Музсектором в лице его председателя Юровского, лежала задача узаконить со мной отношения. Это была не дешевая игрушечка для Музсектора, так как надо было заплатить за все проданное в течение девяти лет революции, а также за приобретение прав на несколько лет в будущем. Для определения вознаграждения за каждое сочинение в Музсекторе была принята система, предложенная Мясковским, которая заключалась в том, что высчитывалось количество четвертей в пьесе, которое множилось на достоинство вещи (фортепьяно, ансамбль, оркестровая партитура) и затем помножалось на достоинство автора, которому выдавалось в общем от 7% до 12% с продажной цены экземпляра.

Разговор мой с Юровским продолжался около двух часов. Он мне сразу предложил 12%, но не видя при этом удовольствия на моем лице, сразу поднял до 15%. (Эти 15% больше, чем 25%, выплачиваемых мне издательством Кусевицкого, так как они отсчитываются с продажной цены экземпляра, а у Кусевицкого — с фактической его цены, за которую экземпляр уступается магазину, а уступается он со скидкой чуть ли не в 50%.)

Я не соглашался подписать окончательный договор на

неопределенное время, но предлагал договор, ограниченный тремя годами, считая его пробным и проходным для будущего. Это был средний выход, но Юровский согласился на него, а затем говорил о пьесе, к предстоящему через полгода юбилею советской революции. Это было самое неприятное, так как надо было во чтобы то ни стало отказаться, но отказаться под приятным и благовидным предлогом. Я отвечал, что писать какую-нибудь ерунду, и притом наскоро, я не считаю возможным, а для того, чтобы приготовить к Октябрю серьезную вещь, у меня нет времени, так как летом, согласно контракта, я должен заканчивать *Огненного Ангела*¹. Юровский дал тогда понять, что иметь такую вещь от меня им настолько важно, что они не останутся перед крупным гонораром, размер которого даже не важен для них. Тут я вспомнил про мой дягилевский балет и рассказал, что по существу у меня есть советская вещь и трудность не только во времени, но и в том, что писать вторую вещь, пока я не увижу, что вышло из первой, мне совершенно невозможно. Словом, я так превосходно увертывался, что когда мы дружественно распростились с Юровским, рассталась меня догнала его секретарша и пока я в другой комнате одевал пальто, занимала меня разговором, между прочим сказав:

— Александр Наумович (Юровский) думает, уже не приняли ли вы его за коммуниста? Но ведь ему же по обязанностям службы необходимо было переговорить с вами об юбилейной вещи.

Встретившись с Пташкой, отправились к Рабиновичу, который непременно хотел, чтобы я посмотрел его макеты к постановке *Трех Апельсинов*.

Приехали мы к нему усталые, к тому же еле его разыскали, но были вознаграждены: макеты действительно оказались ослепительными. Таких нарядных декораций для *Апельсинов* еще не делалось. Особенно мне понравилась первая картина, с перспективой, уходящей вглубь зеркал.

Рабинович изумительно ловко умеет строить свои макеты, а потому его замыслы были отлично преподнесены. Он не без торжественности заявил, что посвящает их мне.

Затем надо было спешить домой, где меня ждал Разумовский, секретарь общества авторов, ибо я хотел написать заявление в общество авторов, протестуя против 15% отчисления

при взимании предстоящих мне гонораров за постановку Апельсинов в Большом театре. Пока им приходится взимать по несколько рублей, а иногда и копеек с концертных исполнений, тогда пусть себе отчисляет с этой мелкой работы по 25% и больше. Но когда дело касается крупных сумм в Большом театре, которые кстати и получать-то будут не они, а через Книгу издательство Кусевицкого, то тут уж и 15% становится грабежом. Французское общество авторов берет что-то вроде 2%, а может и меньше.

Все это я объяснил Разумовскому и мы вместе написали мое заявление, причем Разумовский дал понять, что вероятно общество авторов пойдет мне навстречу, так как рассориться со мной в момент моих успехов было бы для них слишком невыгодно.

После ухода Разумовского, надо было собирать чемоданы, так как сегодня вечером мы снова уезжали в Ленинград. Появился Цуккер, чтобы пожелать нам всего хорошего и проводить на вокзал. Я справился у него о Шурике, но он мялся, говорил, что это трудно, что дело щекотливое, надо быть осторожным, чтобы не повредить и что то лицо, к которому надлежит обращаться, все еще не вернулось в Москву. Ясно было, что Цуккеру это предприятие было неприятно и что он не хотел своими ходатайствами набросить на себя какой-нибудь тени.

Мы погрузили чемоданы в автомобиль и, провожаемые Цуккером, поехали на вокзал. По забавному совпадению, у нас то же купе международного вагона, что и оба прошлых раза, но теперь Экскузович не едет с нами. Зато едет Асафьев. Доплаты в международном обществе весьма высокие, в несколько раз дороже обыкновенного билета и Асафьев, нагоняя экономию, едет на этот раз в жестком вагоне.

После того как поезд приходит в движение, я отправляюсь его разыскивать. Конечно в жестком вагоне не очень уютно, но у Асафьева отдельная скамья и мягкая подстилка для сна. Мы с ним немножко поболтали — я только что получил от московского бюро газетных вырезок пачку с рецензиями, и мы ее проглядывали.

Я рассказал Асафьеву, что сегодня, идя с Мясовским к Юровскому, я предложил Николаю Яковлевичу денег на поездку в Ленинград к исполнению его Восьмой симфонии, но Мясковский сказал, что ему вовсе туда ехать не хочется. А по-мое-

му это просто, чтобы не брать денег, но если бы у него деньги были, то он проехался бы с удовольствием. Асафьев согласился со мной и взялся написать ему, дабы вытянуть его в Ленинград на исполнение симфонии.

Уговорившись затем относительно программы моего пребывания в Ленинграде, (которая, впрочем, в главных своих чертах уже была размечена во время прошлого приезда), мы с ним расстались и я вернулся в мой аристократический спальный вагон, которого не вывели из обращения никакие перевороты.

Асафьев мне потом рассказывал, что его соседи по жесткому вагону узнали меня и после моего ухода были с ним очень предупредительны. Так как Асафьева раздражал дым, то они перестали курить.

17 февраля, четверг.

В 10 часов утра Ленинград, а перед тем несколько взглядов в окно на занесенные снегом окрестности. Знакомые очертаний Саблина я на этот раз рассмотрел, несмотря на белый полог, скрывающий их.

Расставшись на Николаевском вокзале с Асафьевым, поехали в Европейскую гостиницу, где получили замечательный номер; просторный, светлый, состоящий из огромной гостиной, спальни, ванной, передней и даже комнаты для любовника, как я назвал прилежавший к передей большой темный чулан.

Первым появившимся лицом была Катя Шмидтгоф. Она рассказывала, как успешно перед катастрофой с потерей руки шли ее занятия в театре и что хотя теперь конечно ее актерская карьера погибла, она все же могла бы учиться режиссуре, к которой чувствует большое призвание. Словом, не могу ли я дать концерт в ее пользу, — и тогда она могла бы два года учиться режиссерскому искусству с тем, чтобы вновь войти в театральный мир, который так трагически для нее закрылся. Просила она это с той же милой бесцеремонностью, с которой ее брат забирал у меня когда-то деньги.

А с другой стороны, если стать на ее точку зрения, то ведь в сущности это так просто: вот взял я, да и дал лишний концерт (не все ли равно; одним больше или меньше — ведь и так много даю), а смотришь — у нее новая жизнь создается.

Но я рассудил, что потеря руки слишком большой гандикап для того, чтобы рассчитывать на удачный исход этих занятий, да и не так просто было бы организовать концерт. Поэтому я ответил, что в мой ленинградский приезд я связан с Филармонией и потому никакой концерт все же невозможен.

Затем я отправился на репетицию симфонического концерта, а Катя Шмидтгоф долго сидела с Пташкой, рассказывала ей про свою жизнь.

Она уже третий раз замужем. Первый раз она вышла замуж в 1917 или 1918 году, вскоре после моего отъезда в Америку, за актера. Это был брак по любви и поездка их в Сибирь, куда ее муж отправился играть, осталась лучшим воспоминанием ее жизни, несмотря на все трудности междуусобствовавшей России. Но счастье длилось всего лишь несколько месяцев — муж заболел и умер, оставив ее в самом беспомощном состоянии и безнадежном настроении.

В состоянии подобной безволяности она вышла замуж за коммуниста, которого не любила, но в котором надеялась найти опору. Этот коммунист, типичный самец, был человек жестокий и ревнивый и Катя Шмидтгоф была с ним несчастлива. Он запирал ее и чуть ли не бил. Во время одной из подобных сцен, один молодой человек пытался за нее заступиться, но во время схватки был убит коммунистом. Очевидно муж ревновал молодого человека, хотя Катя утверждает, что к этому не было основания. Коммуниста посадили в тюрьму; но не прошло нескольких месяцев, как он вновь появился перед своей женой, освобожденный, благодаря какому-то манифесту. Катя в ужасе перед ним отшатнулась, но он вновь требовал ее в жены, говоря:

— Ведь вы все равно не скоро найдете такого мужчину.

Катя однако к нему не вернулась и теперь она замужем в третий раз за морским офицером, имеет от него ребенка и довольно счастлива, хотя муж и много отсутствует, плавая по северным морям. Катя Шмидтгоф безостановочно курит, довольно ловко зажигая спички одной рукой.

Моя сегодняшняя репетиция происходила под управлением Малько — с новой программой, а именно: сюита из Апельсинов, Классическая симфония, новая увертюра и Второй концерт. Из этой программы сегодня Малько репетировал Апельсины и Симфонию: ничего, как всегда серьезно и аккуратно, но без полета и увлечения.

Когда я выхожу на улицу, то внизу огромный хвост на билеты. Меня узнают и аплодируют. Вот уж долготерпение! Стоят в хвосте два часа, да еще аплодируют.

Возвращаюсь в Европейскую и с сожалением вижу, что рояля еще нет, а между тем еще прошлый приезд я уговорился с Хаисом, что мне пришлют его из Филармонии сегодня утром. Нетерпеливо звоню в Филармонию, там говорят, что рояль почему-то задержался, но его вот-вот пришлют. Досадно, ибо сегодня вечером мой первый клавирабэнд и необходимо повторить программу, которую я не играл почти три недели.

В 4 часа наконец сообщают, что рояль привезли в гостиницу. Я открываю двери, убираю мебель и жду, но проходит полчаса и рояль не появляется. Спускаюсь в вестибюль и вижу, что огромный рояль действительно стоит, но вокруг него никого нет. Оказывается, что в то время как его втаскивали в отель, убежали лошади, на которых его перевозили, и возчики их ловят; почему целые полчаса — неизвестно. Я опять звоню в Филармонию и наконец половина шестого вечера рояль вваливается в мой номер на девяти коридорных, похожий на сороконожку.

Я сел за повторение программы, но в общем вся эта комедия с роялем испортила мне весь день. Не успел ни отдохнуть после некрепкой ночи в дороге, ни поупражняться, как следует.

Вечером Колонный зал набит битком. Играю почти хорошо, кроме отдельных гаф: пресловутый конец первой части в Пятой сонате, кое-что в мимолетностях и т.д. Успехи по установленному плану: хороший после Третьей сонаты и мимолетностей, сдержанный после Пятой и бурный, как только заиграл марш из Апельсинов и прочие мелочи. В конце три или четыре биса и рев с пронзительными выкриками, пока не потушили электричества и даже после.

Андрей Римский-Корсаков, который уже написал хорошую рецензию про прошлый концерт, заговаривает о совместном создании вещи с текстом Разумника, декорациями Петрова-Водкина и режиссурой Мейерхольда. Я вообще далек от принятия каких-либо подобных предложений, но раз ко мне обращается Андрей Римский-Корсаков — доселе мой принципиальный враг, а ныне новообращенный хвалитель, то я ускользаю, мягко говоря, что я все равно завален работой до конца

этого года, а потому не лучше ли отложить разговоры об этом проекте до моего следующего приезда.

Появляется Добычина и с тихой назойливостью меня преследует, чего-то добиваясь, по-видимому того концерта в пользу квартетного общества, от которого я считал себя отвергнутым. Пока я выхожу на вызовы, она стоит за колонной на пути в артистическую и тихим голосом говорит:

— Вот. Орут. Может быть вы думаете, что это успех? Может быть вы думаете, что это любовь? Нет. Любовь не в крике, а в тихом понимании.

Я помню, что у нее связи в Чека и выслушиваю ее. Но появляются Корнеевы и Лидуся издали видит скуку на моем лице. Она подходит ко мне и отводит в сторону:

— Спасти вас, Сергуся, от этой старухи?

— Ах, ради Бога, Лидуся — она отравит мне весь приезд.

Мы боремся под ручку и за колоннами отходим подальше от Добычиной. Вдруг аплодисменты, которые начали было стихать, раздались с новой силой. Оказалось, что двигаясь позади колон, мы попали в поле зрения публики, которая увидев меня захопала сильнее. Мы сконфузились и быстро исчезли.

Вернувшись в артистическую, я застал там много народу. Среди них — Асафьев, Дранишников, Оссовский, Малько, Катя Шмидтгоф, брат и сестра Алперсы, Рудавская и пр. Последняя утром звонила ко мне, так как при прошлой встрече я пообещал ей билет на концерт. Сообщая в ответ, что билет ей будет оставлен в конверте в бюро отеля, я спросил ее:

— Антонина Александровна, а сколько раз вы замужем? — вопрос вполне естественный ко всякой красивой женщине в советской России.

Но с обычной своей рассудительностью, она остановила меня словами:

— Сергей Сергеевич, о таких вещах неудобно говорить по телефону.

Пташке очень нравятся Корнеевы и она уговорилась с Лидусей, которая все-таки осталась модницей, ехать завтра смотреть меха. Меха — это то, что необходимо закупить в России, всякому человеку, обитающему за границей.

18 февраля, пятница.

Следующая репетиция того же концерта. Оркестр распушенный, "игривый", как извинительно отозвался Малько. Музыканты хуже, чем в Персимфансе, однако увертюра оп. 42, которую репетируют сегодня, идет с дирижером лучше, чем в Москве. Кроме увертюры, много зубрили Второй концерт.

После репетиции, Хаис и Малько пригласили меня в управление Филармонии, которое помещается в том же здании. Малько заявил, что Филармония платит моему издателю за все "незаконные" исполнения моих партитур по списанным материалам. Затем Хаис спросил, куда надлежит перевести мой гонорар. Я указал мой банк в Нью Йорке. Хаис записал. При этом ни слова о прибавке к моему гонорару, лишь напряженно смотрит, когда же заговорю об этом я.

Тем временем он пытается поторговаться со мной относительно размера суммы, которую мне надлежит получить за приезд. Это меня бесит, хотя я не показываю вида. Когда же он, не смущаясь, заговаривает о моих концертах в будущем году, я отвечаю:

— Едва ли это выйдет. Ведь мне концерты с Ленгосфильмом не выгодны. Я лучше поеду на юг, в Харьков, на Кавказ, где мне платят вдвое.

Хаис откинулся на спинку. Эффект от моей фразы был так велик, что даже я его не учитывал. Малько мнетя и выгораживается, что он совсем недавно директор, а все переговоры велись при Климове. Я его успокаиваю, говоря, что вполне отдаю себе отчет в этом. Хаис заикается и Малько старается смягчить разговор.

Выходит, будто с Хаисом я вовсе не желаю вести переговоры о будущем сезоне, но может сговорюсь с Малько. Хаис вскакивает и говорит, что он выйдет, дабы не мешать нашему разговору. Мы его удерживаем и он остается, но через короткий промежуток времени, все-таки под каким-то предлогом выходит.

Малько хохочет. По-видимому он очень доволен инцидентом, так как моим ходом я даю ему козырь перед Хаисом в делах управления Филармонией. Затем Малько переходит на другие темы и, коснувшись Огненного Ангела, рассказывает анекдот про Брюсова.

Оказывается, когда умер Брюсов, у его жены стали просить его неопубликованные рукописи. Последних не оказалось или было слишком мало, но жена предложила его дневник, который он вел последнее время на древнегреческом языке, блистая своей ученостью. Дневнику страшно обрадовались и немедленно засели за его перевод, но тут выяснилось, что почтенный коммунист в дневнике на чем свет стоит ругает советский строй. Так и неизвестно, что с дневником сделалось.

Возвратился Хаис. Обменявшись с ним несколькими фразами, я простился, — с Малько мило, с Хаисом вежливо.

Но все-таки хороши, так ни копейки и не прибавили и лишь вскользь дали понять, что они не могут выходить за пределы той суммы, которая утверждена, ибо, случись ревизия, им намяли бы за это шею.

Вернувшись домой, я повторял Второй концерт и спал. Пташка ушла с Лидусей смотреть соболь. Приходила Катя Шмидтгоф, сообщая, что она нашла какую-то замечательную выгодную квартирку для себя, но для этого ей нужно 250 рублей, которых у нее нет. По-видимому, если не концерт в их пользу, то хоть что-нибудь. Пообещал ей половину — пришлю из Москвы, ибо сейчас у меня на руках денег не так много — весь мой гонорар Ленгосфил переводит прямо в долларах за границу.

Звонил Хаис и говорил о тягостном впечатлении, которое произвел на него сегодняшний разговор. Он-де не виновен, а виновен Климов, который был тогда директором и теперь вышел в отставку. Врет: конечно всеми этими делами ворочает Хаис. Но сейчас, говоря по телефону, я был корректен и сказал:

— Вы вправе говорить это, ибо все письма от Ленгосфила ко мне были подписаны не вами, а Климовым.

Такой оборот мало удовлетворял Хаиса, ибо вполне соглашаясь с формальной стороной его объяснений, я всю вину все же оставлял за ним. Так разговор ни чем и не кончился.

Телеграмма от Якулова из Тифлиса. По-видимому вопрос с постановкой моего балета у Дягилева налаживается. В связи с этим писал письма и телеграммы Дягилеву в Париж и Якулову в Тифлис.

В 7 часов вернулась Пташка в сопровождении Лиды и моряка, который живет у них в квартире, очень молчаливого и

корректного человека. Сидели, болтали. Я и Лидуся вспоминали Териоки и всякие шутки и шалости того периода.

Вечером никуда не пошли и легли спать пораньше.

19 февраля, суббота.

Опять симфоническая репетиция. Увертюра идет стройнее, чем в Персимфансе. Концерт я играю хорошо, но оркестр распущен и недостаточно серьезно относится к делу. Говорят, когда приезжал дирижировать Клемперер, то он так ругал оркестр, что решили не пускать публику на репетиции, дабы не позорить оркестра.

На репетиции Асафьев, которому я сообщаю о вчерашней стычке с Хаисом. Как "патриот" своего города, Асафьев возмущен поведением Ленгосфила. Хаис появляется только для того, чтобы вручить билеты на концерт, холодно и быстро. Билетов он вручает однако столько, сколько я просил — 10 или 12 для друзей и знакомых.

Днем упражняюсь и сплю. За стеной поют с завыванием цыганские романсы. Революция вывела форсящую аристократию и кутящее купечество, но спасовала перед цыганщиной!

Вечером симфонический концерт под управлением Малько. Программа начиналась с Увертюры, которая для пущего вразумения публики была поставлена два раза подряд. Однако успех лишь немногим больше московского, то есть слабый. Второй концерт я сыграл свободно и корректно, первый раз без инцидентов. Дальнейшее воспоминание об этом вечере смешалось с другими концертами, а в кратком дневнике других записей нет.

20 февраля, воскресенье.

Так как Луначарский приехал на несколько дней в Ленинград, то сегодня днем давались для него Апельсины, которые он до сих пор не видал. Луначарскому надлежало решить, стоит ли послать эту постановку в Париж, как это теперь проектируется.

Дирекция любезно прислала мне целых две ложи для

моих знакомых, чем я и воспользовался, разослав все двенадцать мест, в том числе и М.Г.Кильштетт, либретистке детской Ундины.

Когда мы с Пташкой приехали на спектакль, то в режиссерском кабинете встретили Луначарского, Рапопорта и Экскузовича. Разумеется, между Луначарским и дирекцией шел горячий, хотя и полушутливый разговор о предстоящей посылке одного из советских театров за границу.

— Ведь если мы пошлем вашу постановку Апельсинов, то мне большевики жить не дадут, — сказал Луначарский.

При слове "большевики", он засмеялся, ибо это обозначало Московский Большой Театр, который спешно приступал к постановке Апельсинов, имевший быть в декорациях Рабиновича более роскошной, чем ленинградская.

В режиссерскую вошел один из помощников и спросил, может ли Дранишников начинать спектакль. Нас провели в одну из лож в первом ярусе с левой стороны. В ложе сели так: Луначарский, я и Пташка в первом ряду, Экскузович и двое сопровождающих Луначарского — во втором. Луначарский наклонился ко мне и сказал:

— Мне очень приятно слышать эту оперу, сидя рядом с вами, — будто сказал комплимент барышне.

Это было так сладко, что я ничего не нашелся ответить.

При вторичном слушании, или вернее, просмотрении Апельсинов, когда все трюки были знакомы и более не ошеломляли, начали выступать некоторые недостатки. О некоторых из них я пошептал на ухо сидевшему сзади меня Экскузовичу. Экскузович воспользовался моим критическим настроением и в антракте попросил меня записать все мои замечания и пожелания, дабы в дальнейшем это могло быть принято во внимание и исправлено.

В антракте мы все перешли в директорскую гостиную при боковой ложе, где был накрыт чай и угощение. Туда же в одном из антрактов ввалился Глазунов, который на спектакле кажется не был, а зашел так, на огонек. Луначарский сейчас же спросил, как ему нравятся Апельсины, но Глазунов, промывав что-то невнятное, сунул в ответ Луначарскому приглашительные билеты на Бетховенский концерт. А Дранишников тут же сочинил поговорку, перефразируя другую:

— Понимает, как Глазунов в Апельсинах.

Экскузович отвел меня в сторону и сообщил, что у него замечательная идея поставить одновременно с Игроком Шута, чтобы обе вещи шли в один спектакль. Я в ужасе — одно впечатление будет выбивать из другого, да кроме того этот разрушит проект балетного спектакля из моих сочинений. Поэтому я энергично протестовал и сейчас же передал этот проект Асафьеву, прося его тоже препятствовать при случае.

За стаканом чая Луначарский расхваливает Скифскую сюиту, ее силу и натиск. Его кто-то спрашивает:

— А Апельсины?

— А Апельсины, — отвечает Луначарский, — это бокал шампанского, который искрится и пенится.

Мы возвращаемся в ложу и спектакль продолжается. В одном из антрактов меня вызывают и я кланяюсь из ложи, а в конце выхожу вместе с артистами перед занавесом. В других антрактах большинство времени провожу в директорской гостиной.

В кулуарах перед ложей меня ловит Мария Григорьевна Кильштетт¹, потом Наташа Гончарова, которую я не сразу узнаю, а потом припоминаю туманно, хотя и раскланиваюсь любезно. Затем Барков приводит дочку Лидуси, прелестную девочку лет десяти. Но все это проскакивает, как в калейдоскопе. Вероятно были еще встречи, которых я не помню.

После спектакля отправляемся обедать к Малько вместе с Асафьевым. Луначарский прощается и спрашивает, еду ли я сегодня на вечер к Алексею Толстому. Алексей Толстой, которого я знал по Парижу еще до того, как он демонстративно покинул эмиграцию и обратился в доброго советского гражданина, действительно звонил вчера мне по телефону и приглашал прийти. Но вечер мой был уже и так разделен между Малько и Щербачевым и я должен был отказаться.

Малько живет тут же около Мариинского, на Крюковом канале, в доме, где некогда жил Зилоти. Пока обед еще не готов и Малько беседует с Асафьевым, а Пташка — с женой Малько, очень хорошенькой еврейкой, которую он подцепил где-то на юге, я сижу за письменным столом с клавиром Апельсинов, который перелистываю от первой страницы до последней, вписывая по просьбе Экскузовича все мои замечания, касающиеся, как режиссуры, так и музыкального исполнения.

Обед очень вкусен, как все обеды, которыми нас угощали

в России. Малько без остановки рассказывает: у него талант презанятно рассказывать о пустяках, почти что ни о чем. Он рассказывал так много, что под конец у меня начала пухнуть голова. В 9 часов вечера прощаемся и едем к Щербачеву, у которого сегодня сбор всех ленинградских молодых композиторов в мою честь.

Щербачев живет на Николаевской улице, ныне революционно переименованной, недалеко от того места, где раньше жил Лядов. По страшнейшему морозу едем в санках через весь город, Пташка и я на одном извозчике, Асафьев на другом. Подъезжая к Щербачеву, я нахожу свое положение несколько дурацким: с одной стороны молодые композиторы собрались мне играть свои сочинения, а с другой — я ведь не знаю, что за дух царит среди них, "свой" я или не "свой", а потом — очень хорошо быть знаменитым композитором, но ведь всякий молодой композитор считает себя открывателем Америк, и независимо от того, выйдет ли из него что-нибудь или не выйдет, очень часто смотрит на "мэтра" прежде всего с задором.

У Щербачева хорошая квартира, но влезать в нее надо по черной лестнице, как почти всюду в Ленинграде. Мы приехали довольно поздно, поэтому все уже в сборе: сидят на всех стульях и диванах. Но атмосфера для меня сразу делается простой и более приятной, чем я думал, ибо первым долгом окружают старые знакомые — Дешевов, Тюлин, Щербачев.

Дешевов нисколько не изменился, такой же юркий, любезный, восторженный, приятный. Ему под 40 лет, а все хочется сказать, что он начинающий и что подает много надежд. Однако времени тратить нельзя: впереди большой список сочинений, которые иметь быть мне сыгранными, а потому сразу приступаем к музыке.

Первым играет Шиллингер какую-то сложную и малоинтересную вещь. Если будет так весь вечер, то благодарю покорно. Он кончает и я не знаю, что сказать. Но Шиллингер подсаживается и начинает по нотам объяснять сущность построения, в которое входят различные революционные темы: интернационал, мы жертвою пали и т.д. От этого пьеса не делается более понятной и я стараюсь отделаться задаванием вопросов, умалчивая при этом о моих впечатлениях.

Вторым номером играет Шостакович, совсем молодой человек, не только композитор, но и пианист. Играет он бойко,

наизусть, передав мне ноты на диван. Его соната начинается бодрым двухголосьем, несколько баховского типа, вторая часть сонаты, непрерывно следующая после первой, написана в мягких гармониях с мелодией по середине. Она приятна, но расплывчата и длинновата. Анданте переходит в быстрый финал, непропорционально короткий по сравнению с предыдущим. Но все это настолько живей и интересней Шиллингера, что я радостно начинаю хвалить Шостаковича. Асафьев смеется, что Шостакович от того мне понравился, что первая его соната написана под моим влиянием.

Затем следует напечатанный сборник, в который вошли сочинения пяти или шести композиторов, в том числе Тюлина (довольно приятно, но бледно, немного в стиле некоторых мимолетностей) и Щербачева — это гораздо интереснее, чем я думал, вспоминал его "Шествие", которым я когда-то дирижировал на консерваторском акте.

После чая следовало продолжение. Играл Дешевов, которого в свое время тах расхваливал побывавший в Ленинграде Мийо. Дешевов жив, игрив, не слишком диссонирующ, и если предварительно условиться, что он не метит в значительные композиторы, то его слушать очень приятно. На основании его отдельных пикантных пьес, ему был заказан балет, но он не выдержал экзамена на долгие вещи, хотя отдельные части этой вещи и удачны. Дешевов никак не хотел уходить от фортепьяно, ему хотелось сыграть и то, и другое, и переложенное на две руки, и на четыре, а я уж начинал торопиться слушать следующих, потому что время было позднее и мое внимание начинало притупляться.

Когда Дешевова наконец деликатно удалили от рояля, его место занял Попов² со своим октетом или нонетом, написанным для довольно странного состава карандашом и притом довольно неясно. Среди общей контрапунктической вязи, мелькали интересные моменты и я вероятно воспринял бы гораздо больше, если бы в моем мозгу уже не шевелились бы какие-то тяжелые волны от всей прослушанной за сегодняшний день музыки. По-видимому сознавая контрапунктическую вялость своего письма, Попов для развлечения публики ввел довольно легкомысленную темку, которая, однако, меня раздражала, ибо мне казалось, что он в погоне за контрастом переборщил. Теснимый усталостью, я с нетерпением ждал конца нонета и

просил Щербачева, чтобы затем он сыграл кое-что из своей симфонии, после чего я мог бы идти домой. Но Щербачев сказал, что необходимо выслушать еще органную вещь Кушнера, очень интересную и хорошо сделанную, для исполнения которой только что приехала пианистка Юдина³. Пришлось подчиниться и Юдина с автором сыграла на рояле эту вещь. Музыка здесь совсем другого рода, гораздо более старообразная, не без уклонов к Рахманинову, однако несомненно недурно сделанная.

Но я окончательно одурел и каждая нота вбивалась в мозг огненным гвоздем. К концу вещи Кушнера я почувствовал, что не могу принять больше ни одной ноты. Мы прощаемся и уезжаем, очень жаль, что не прослушав симфонию Щербачева, ибо кажется он колоссально самолюбив, а я как раз его и не дослушал.

За время нашего музицирования мороз на улице еще больше окрепчал и кажется достиг максимальной точки за время нашего пребывания в СССР. Термометр во всяком случае переваливает за 20 градусов по Реомюру⁴, что при отсутствии меховой шапки и мехового воротника — становилось угрожающим. Пока мы на извозчике плелись в Европейскую гостиницу, я все время шевелил пальцами на руках и на ногах, дергал бровью, губами и щеками, дабы движением согреть те части тела, которые могли быть отморожены. Впрочем, такая морозная встряска была полезна для выветривания всех звуков, собранных за день.

21 февраля, понедельник.

День консерватории, о котором Асафьев писал еще в Париж и о подробностях которого говорил со мной в Москве. После вчерашних музыкальных эксцессов мы проспали, встали лениво, поздно пили кофе и в результате оказалось, что когда ко второму часу за нами заехал ученик, чтобы нас вести в консерваторию, мы не успели еще позавтракать.

Когда в автомобиле ученик нас подвез к консерватории, то я с острым любопытством всматривался в учреждение, которое в течение десяти лет было центром моей жизни: с 13 лет до 23. И странное впечатление — то же здание, в котором каж-

дый коридор, каждая ступенька знакомы, и наполненное совершенно иными людьми.

Нас быстрым шагом проводили в кабинет директора, тот самый, где тринадцать лет от роду я держал вступительный экзамен. Тут оказалось несколько знакомых профессоров, к которым постепенно стали прибавляться другие: Асафьев, Оссовский, Николаев, Малько, Чернов, Штейнберг.

Малько уже начал что-то рассказывать, кажется о том, что Глазунов терпеть не может, чтобы портрет Рубинштейна висел криво и о том, что ученики, заметив однажды, как Глазунов встал для того, чтобы его поправить, каждый раз теперь перед заседанием в кабинете директора (теперь в заседаниях принимают участие и представители от учеников), подвигали портрет Рубинштейна накренив в бок и с вожделием ждали того момента, когда Глазунов встанет и его поправит.

Между тем шли какие-то приготовления в малом зале. Оссовский, Асафьев, Малько все время то уходили, то возвращались, потому что ученикам консерватории на вход в малый зал были розданы билеты и они всячески жулили с ними, ибо малый зал не мог принять всей консерватории.

Оссовский еще неделю тому назад спросил меня, где я желаю играть, в малом зале или большом, и я без колебания выбрал малый, который составляет часть учебной консерватории и который мне гораздо роднее, так как в нем прошли все мои занятия с оркестром и все экзамены, тогда как большой зал более чужд консерватории и обыкновенно просто сдается в наем под концерты. А если в малом зале не разместятся все учащиеся, то ничего, пусть пожмутся, — я помню, это случилось не раз в моей жизни во время консерваторских событий и такая толкотня казалось очень веселой.

Наконец выяснилось, что в малом зале все готово и мы через всю консерваторию трогаемся в малый зал: Оссовский, Пташка, я, Асафьев и еще несколько профессоров, словом, торжественное шествие. Я как бы со стороны смотрел на это шествие и вспоминал, как в мое время, когда приезжала в консерваторию какая-нибудь заграничная знаменитость, совершалось такое же шествие, ученики с любопытством глазели на него, а затем сломя голову бросались в малый зал, чтобы на опоздать к началу, и кроме того чтобы не прозевать ту ученицу, за которой ученик в этот момент ухаживает.

При входе в малый зал я был встречен аплодисментами. На эстраде был расположен ученический оркестр с Малько во главе, ныне профессором оркестрового класса, на манер того, как в мое время был Черепнин. Оркестр заиграл первую часть 7-ой симфонии Бетховена, ту самую, которую в свое время проходили и в черепнинском классе. Не потому ли сыграли ее и теперь? А впрочем едва ли: ведь об этом никто не помнит. После 7-ой симфонии весьма бойко были сыграны 1-я и 3-я часть из моей Классической симфонии. Это было очень приятно — консерваторский оркестр готовился к моему приезду.

Затем первая часть консерваторских торжеств была кончена и мы снова вернулись в кабинет директора, так как в малом зале надо было очистить эстраду от оркестра, а зал от учеников; теперь должен был играть я и, разумеется, на это больше всего и целились консерваторцы, и тут то и происходило все жульничество с пропусками.

В кабинете директора теперь нас встретил Глазунов, который в качестве хозяина дома старался быть любезным, но любезности выжимал из себя не без труда и говорил по обыкновению невнятно. Вместо обычных сигар у него во рту теперь трубка, может быть потому что теперь трудно доставать в России сигары.

Через некоторое время, когда малый зал был очищен и вновь наполнен, нас опять повели через всю консерваторию обратно. На этот раз малый зал набит до отказа. Эстрада тоже густо заселена и в артистической около выхода на эстраду тоже народ.

Когда я собирался из артистической выходить на эстраду, чтобы играть, то увидел, что тут же стоит и Глазунов. Я не понял значения его присутствия, но директор ведь может всюду присутствовать. Однако, когда я вышел на эстраду и раскланялся в ответ на овацию, то увидел, что вслед за мною вышел и Глазунов. Последний обратился ко мне с речью, которая началась словами — "Глубокочитимый Сергей Сергеевич"... (Вот до чего дожил паршивый декадент, то есть я). Далее в речи следовало нормальное приветствие и еще дальше экскурсия в прошлое с воспоминанием о тех временах, "когда вы, Сергей Сергеевич, доставили"... Тут он запнулся и поискал слово, которое могло быть: "честь" или "удовольствие". Но на слово "честь" у Глазунова не поворачивался язык, а слово "удоволь-

ствие” выходило, это он чувствовал, недостаточным, для того торжественного приема, который помимо него устраивала мне консерватория. Поэтому Глазунов продолжал:

— ...когда доставили радость быть в этой самой консерватории.

Затем следовало еще несколько слов и приветствие закончилось, а я уже думал, неужели нужно будет отвечать и какую глупость я отвечу на эту неожиданную речь? Черт возьми, ”радость, которую я ему доставил, будучи в стенах консерватории”! Однако Глазунов протянул мне руку и не успел я пробормотать несколько слов благодарности, как он пошел с эстрады. Я мог благополучно сесть за рояль и, как только аплодисменты стихли, начать мою короткую программу.

Сыграл я Третью сонату, затем Вторую и ряд мелочей. Особенный успех имели мелочи, после которых в зале стояли не аплодисменты, а треск. После окончания программы, Асафьев ведет нас через лестницы и коридоры, густо наполненные расходящимися учащимися, в свой класс, где стоит мой шредеровский рояль, Рубинштейновская премия, с прибитой к нему серебряной дощечкой. После ряда приключений, вывезенный из моей разграбленной квартиры Элеонорой, этот рояль попал в консерваторию и Асафьев забрал его в свой класс, помещавшийся внизу, при входе с улицы к лестнице малого зала. В этом классе рояль отлично защищен от прикосновения грубых пальцев, ибо играет на нем почти исключительно Асафьев и то главным образом отдельные примеры во время своих лекций по музыковедению. В остальное время этот класс держится на ключе. Я взял несколько аккордов на рояле и нашел, что он в гораздо лучшем виде, чем я думал (я полагал, что от него остались лишь дряблые останки).

Немного посидев в классе Асафьева, мы отправились к Оссовскому, в обладание которого перешла квартира покойного инспектора консерватории Габеля, тут же при консерватории, в 4-м этаже. Есть хотелось смертельно — мы ведь не завтракали, а энергии пришлось истратить не мало. Но только через час был подан обед, к которому явились и многие другие приглашенные, в том числе Малько, Николаев, Асафьев. Обед был замечательно вкусен и сервирован в том широком стиле и с тем радушием, которое свойственно было Оссовским в старое дореволюционное время, о чем я не преминул сказать

им. К концу обеда я чувствовал себя совершенно осовевшим, а между тем консерваторские торжества еще не приблизились к концу. Я выпросил у хозяйки разрешение пойти заснуть на полчаса и нас отвели в спальную хозяев, где в темноте и на удобной кровати я заснул, как убитый, а Пташка только подремала.

Квартира у Оссовских просторная и очень удобная — когда строили консерваторию, то позаботились об удобстве ее управителей.

Около 9-ти часов вечера я проснулся освеженным и вылез в столовую, где некоторые из гостей еще сидели за столом. Предстоял концерт учеников консерватории из моих сочинений, и мы двинулись в малый зал, который опять был наполнен. Я чувствую себя очень гордым, что ученики дают целую программу из моих сочинений, но Оссовский объясняет, что желающих выступить на этом вечере было заявлено втрое больше и из этих заявлений пришлось сделать выбор.

В программе, среди других вещей, виолончельная баллада, Первый концерт с акомпаниментом второго рояля, Третья соната, мелочи. Нас проводили в первые ряды, но специальных мест не было и я сидел то здесь, то там. Между двумя номерами, пока на эстраду водружали арфу, я заговорил с профессором Мусиной и когда ученица вышла на эстраду и начала играть, то увидел, что мое место в 3-м ряду занято. Я оглянулся туда-сюда и увидел, что единственный свободный стул в 1-м ряду. Я сел на него, очутившись у самых ног арфистки. Это оказалось фатальным для нее и едва она меня увидела, как запуталась в до-мажорной прелюдии до полной безнадежности. (Ну хоть бы играла арфную мимолетность — там сложнее, а то в до-мажоре!) Словом, исполнение превратилось в страдание и хотя под конец она немножко выправилась и ей для одобрения захлопали, она не поклонившись сорвалась с места и не пошла, а побежала с эстрады. Это впрочем был единственный инцидент. Остальные играли хорошо, хотя некоторые и несколько робко. А Первый концерт, который я давным-давно не слышал, мне прямо-таки доставил удовольствие и я взял Асафьева за локоть, спрашивая его точно о чужом сочинении:

— А ведь кажется его все-таки еще можно играть в симфонических оркестрах?

На это Асафьев ответил:

— Я тоже об этом думал, когда слушал и нахожу, что можно вполне.

После концерта ужин в конференц-зале, в том самом, где 13 лет тому назад бурно присуждалась мне премия при окончании консерватории. Впрочем, виновник бурных протестов, Глазунов, на этот раз отсутствует: произнесение речи "глубоко-чтимуму Сергею Сергеевичу" по-видимому слишком его утомило.

В длинном и узком конференц-зале стол поставили в виде "твердо", причем у этого "тверда" длинная ножка и короткая перекладина. Я сижу между Асафьевым и Николаевым, остальные профессора расположились тут же, окружая перекладину, кто окружал длинную ножку, я не мог рассмотреть. Оссовский провозгласил первое приветствие, от имени отсутствовавшего Глазунова. Я немедленно ответил тостом за дорогого отсутствующего и отца консерватории Александра Константиновича Глазунова. Затем следовало множество тостов, в том числе коммуниста ученика, того самого, который является делегатом учеников при профессорах. Речь его была обращена ко мне и произнесена в самых восторженных тонах, причем я призывался в руководители юного музыкального коммунизма. Вот тебе и на: придите и княжите! Асафьев, видя мой несколько странный вид, шепнул мне:

— Это ничего, что он произносит зажигательные речи. Он очень любит Баха и тает над Матеус-Пассион. В наших консерваторских делах с ним очень легко разговаривать, надо лишь знать, как за него взяться.

Оссовский произнес еще одну речь:

— Я застал, как вам пришлось с трудом пробивать дорогу для ваших новых идей, — настолько они были неожиданны для людей, вершивших в то время судьбы нашей музыки, но теперь, Сергей Сергеевич, пришли ваши люди и музыкой управляют люди с вами согласные.

Это утверждение между прочим лишнее — действительно за время моего отсутствия как раз выдвинулись мои друзья и теперь они впряглись в мою музыку, чтобы дать ее воспринять остальным.

Очень сложную речь произнесла Мусина-Озоровская, теперь профессор консерватории и после развода с Озоровским и смерти его, просто Мусина. Не то она подпила, не то вся обстановка привела ее в состояние экстаза, но ее тост превратился в ряд таких восторженных выкриков, что всех присутству-

ющих охватила веселость и смех. За смехом ей даже не дали закончить.

Далее следовали тосты за других присутствующих и за отдельных профессоров. Этим я воспользовался, чтобы подняться во второй раз и предложить тост за здоровье Асафьева, "по мнению которого прислушивается Европа".

Во втором часу ночи ужин еще не клонился к концу, но я больше не мог. Мы откланялись, поблагодарили и отправились домой. Вообще консерватория меня принимала с 2 часов дня и до 2 часов ночи.

Консерватория и та, и не та. Много старого, ей присущего; знакомые лица профессоров, те же коридоры, парочки на окнах, малый зал с органом и зеркалами. Но как много изменилось за эти 13 лет! На прощание меня ловит Чернов и вручает мне несколько отрывков, оставшихся от Великана¹: его какая-то ученица жила на той же лестнице, что и моя квартира и знала, что там сжигаются рукописи, ввиду наступивших холодов; кое-что она выменяла на несколько поленьев дров, но к сожалению спохватилась слишком поздно и то, что она выменяла, кроме нескольких страничек Великана, не представляло никакой ценности. Это были или оркестровые голоса или копии вещей, у меня уже имеющихся.

22 февраля, вторник.

После вчерашних эксцессов надо было провести более спокойный день, ввиду концерта вечером.

Звонила Элеонора, все-таки. Говорила она о делах, о том, что спасение моего рояля стоило ей многих хлопот и расходов — около 12 английских фунтов по курсу того времени. Кроме того у нее сейчас затруднительное положение и нездоровая мамаша, словом, ей нужны деньги. Я сказал, что пришлю ей требуемые 12 фунтов, как только вернусь в Москву, но что она должна отдать взамен фотографические карточки, которые ей удалось спасти при разгроме моей квартиры.

Днем заходил в управление Филармонии, где мне сообщили, что мои гонорары уже переведены в долларах за границу (оттого я и не мог сразу расплачиваться с Элеонорой). Хаис, видя, будто я смягчился (но не мог же я безостановочно его

язвить), просил мою фотографию с надписью, вероятно для того, чтобы в ответ на слухи о недоразумении с Прокофьевым тыкать пальцем в карточку и говорить, "вот видите, с надписью". Я ему ответил:

— Отлично, в следующий приезд.

Вечером концерт, реситаль со второй программой. Пташку с Лидусей я отправил в Мариинский театр на Веру Шелогу¹, с тем, чтобы они вернулись к концу моего концерта.

Сегодня я был все-таки усталый и играл сонно. Во время Четвертой сонаты даже заставил себя встрепенуться, но к концу ее разошелся и финал сыграл корректно, в первый раз за этот приезд. Вальсы Шуберта я играл по рекомендации Асафьева с Каменским, очень способным пианистом, с которым они шли лучше, чем с Фейнбергом. Вальсы имели шумный успех и были повторены. Кроме них было много других бисов. Крики и аплодисменты достигли силы первого концерта, в котором меня встречали.

Масса народу толпилась в артистической и по дороге от нее к эстраде. Мадам Потоцкая рассказывала про гибель своей дочери Нины, с которой в раннем детстве я учился танцевать. Мадам Потоцкая сама выписала ее в Петербург из укромного места, убедившись, что в Петербурге ей не грозит никакой опасности. Но тут она была заподозрена в сношениях с белыми, предана суду и расстреляна. Этот рассказ велся урывками между моими выходами на эстраду — и эта смесь ревушей публики и картины суда и расстрела, сообщенной с еле сдерживаемыми слезами, как-то странно вязались вместе.

Появилась Элеонора и вручила фотографические карточки, которые впрочем оказались менее интересными, чем я думал, так как большинство из них у меня было.

Пташка и Лидучя появились уже по окончании концерта, так как их задержали в Мариинском театре. Появились еще Тоня и Зоя. Зоя с Лидой уже успели поссориться, как и встарь.

Простившись с Корнеевыми, едем в дом Работников Искусств, который мне прислал еще в Москву телеграмму, выражая желание меня чествовать. Там масса народу и ужин с дивертисментами. Дивертисменты — это музыка Шапорина² к ленинградской постановке Блохи. Для этого он использовал частушки и переложил их для малого оркестра, смешанного с гармошками, что дало преинтересную звучность. Затем была

дана сцена из японской трагедии в постановке Радлова.

За нашим столом — Дранишников, Асафьев, Радлов, Му-
сина. Ее дочка, Тамара Глебова, которую я помню вот уж двад-
цать лет и с которой мы в свое время до одурения ссорились,
учиняет со мной форменный флирт.

Когда я во время какого-то разговора сказал фразу не-
сколько рискованную по отношению к коммунизму, Драниш-
ников подошел ко мне и на ухо шепнул, чтобы я был остро-
рожен, так как за нашим столом сидит кто-то из коммунистов
довольно ядовитого типа.

Хотя я умолял, чтобы сегодняшний вечер прошел без ре-
чей, но все-таки удержаться не могли и говорили, в том числе
Бендер (из управления Акоперы), который в свое время, по
словам Асафьева и Дранишникова, всячески мешал постанов-
ке Апельсинов. Теперь он выражал радость по поводу таких
удачных результатов с Тремя Апельсинами, на постановку ко-
торых было положено столько стараний и любви. При послед-
них словах Асафьев вполголоса восклицает:

— Это с его-то стороны!

Говорит ещё Вейсберг, которая между прочим за эти
два дня успела перекраситься и из седой сделаться черной.

Да, да, — меня приветствовала Вейсберг, мой принци-
пиальный враг, на протяжении всей моей музыкальной ка-
рьеры.

Очень всем хотелось, чтобы говорил и я, но я сегодня
уже вовсе не мог ничего из себя выжать, да кроме того я пре-
дупреждал, что не буду говорить. С несколько разочарован-
ным видом нас отпустили домой.

23 февраля, среда.

С вчерашним концертом собственно закончилась офици-
альная часть моего пребывания в Ленинграде и сегодня мы со-
бирались переехать в Москву, где должны были начаться репе-
тиции симфонического концерта, но у этих репетиций можно
было урвать день, и Асафьев уговорил меня провести еще день
в Детском. Это мне очень улыбалось и сегодня с утра мы отпра-
вились к нему.

День был опять чудесным, солнечным, с ярким белым

снегом. Приехал еще Дранишников и мы все отправились в парк. Пташка и я по очереди щелкали нашу группу маленьким аппаратом, привезенным с нами, но к сожалению эти снимки не вышли особенно удачными.

К обеду приехали супруги Радловы и Щербачев. Последний рассказывал много всяких анекдотов из музыкальной жизни, в том числе о Глазунове. Когда последний был в Англии и посетил какой-то университет, (кажется, в связи с поднесением ему докторской степени), директор попросил его зайти к нему в кабинет и расписаться в книге знаменитостей. Когда эта книга была раскрыта перед Глазуновым, то оказалось, что надо было расписаться как раз под Рихардом Штраусом.

— А впрочем, если хотите, вы можете подписаться на другой странице, — прибавил директор.

— Если изволите, то я предпочел бы другую страницу, — сказал Глазунов.

Тогда директор, тоже не любивший Штрауса, выглянул в коридор, не идет ли кто-нибудь, прикрыл дверь кабинета и, вынув из шкапа бутылку мадеры и две рюмки, сказал Глазунову:

— Выпьемте.

После чего оба единомышленника с удовольствием выпили.

День прошел незаметно и мы с Асафьевым не успели заняться просмотром книги обо мне, которую он пишет.

Чрезвычайно мил был Дранишников и я радовался, что он так выдвигается за последнее время.

Опять из запретной спальни водили на улицу полудиких собак, которые рычали и скребли когтями, так что Дранишников в страхе прятался от них.

Ходили слухи, что Мясковский все-таки приедет на репетиции своей 8-ой симфонии и, действительно, вечером раздались громкие крики жены Асафьева:

— Николай Яковлевич приехал! Николай Яковлевич приехал!

Он где-то достал себе деньги на поездку, помимо меня.

Понемногу все разошлись и остаток вечера мы уютно провели, беседуя с Мясковским и Асафьевым. Мясковский сказал, что после переговоров с Юровским, в Музсекторе уже несколько дней только и занимаются, что считают, сколько денег мне

должны за сочинения, которые уже продали и которые я им разрешил продавать. Его сестра служит там и прямо-таки заму-чалась.

В двенадцатом часу ночи мы вместе с Мясковским вернулись в Ленинград и расстались с ним, уговорившись встретиться завтра на репетиции его симфонии.

24 февраля, четверг.

Когда утром я выходил из отеля, направляясь на репетицию, то на лестнице столкнулся с Элеонорой, которая по-видимому очень волновалась получить с меня деньги, а так как я с не особенно серьезным лицом обещал выслать их из Москвы, то она боялась, что уехав я попросту увильну. Я постарался успокоить ее, сказав, что вышлю моментально по приезде в Москву. Затем мы обменялись несколькими фразами, причем разговор коснулся Демчинского¹, и я ввернул, что хотя он показал себя блестящим критиком, но когда дело коснулось его собственного плана, то этот план не оправдал надежд. Элеонора промолчала, а я подумал, что об этом вообще не стоило говорить. Спеша на репетицию, да и не собираясь давать ей длинную аудиенцию, я стал прощаться с нею, а так как у нее оказались еще какие-то фотографии, то послал ее в наш номер, где оставалась Пташка. Элеонора пробыла там довольно долго, была потрясена размером отведенных нам апартаментов и жадными глазами рассматривала парижские платья.

На репетицию я попал к самому началу 8-ой симфонии Мясковского, которая показалась мне очень интересной, интереснее предыдущих, кроме 6-ой, которую я не слышал. Но все же есть четырехтакты с секвенциями и перестановкой голосов из баса вверх и сверху в бас. Есть и чрезмерная растяжка, особенно в заключении анданте. Очень хорошо играет труба в первой части. В скерцо недостаточно маркировано раз, это отчасти недостаток оркестровки, который однако может быть исправлен исполнением.

Сегодня была вторая репетиция и хотя Малько всячески старался, играли прескверно. Я сидел рядом с Мясковским за его черновой партитурой. Когда оркестр врал, Мясковский охал и хватался за голову, вообще очень переживал все прома-

хи, хотя казалось бы мог уже привыкнуть к тому, что на первых репетициях новые вещи всегда звучат ужасно. К концу симфонии пришел Асафьев, оба они остались поговорить с Малько, и я по окончании симфонии вернулся в отель, взяв с них слово, что они придут ко мне завтракать.

Пока сервировали завтрак, я их щелкал фотографическим аппаратом, благо был светлый день.

После завтрака Мясковской уехал, а мы с Асафьевым отправились в управление Актеатров: там сегодня заседание с Экскузовичем, Радловым и Дранишниковым по поводу Трех Апельсинов в связи с возможностью весенней поездки в Париж. Экскузович заявил, что он почти уверен в этой поездке и что у него в портфеле (тут он ударил по портфелю рукой), лежит даже бумага с ней, но что по горькому опыту он будет только тогда считать поездку состоявшейся, когда они сядут в вагон. Далее Экскузович справился, передал ли я Дранишникову и Радлову лист с моими замечаниями и заявил, что главные переделки должны коснуться конечно художника. Может придется сделать совсем новые декорации и притом в самом Париже, так как там материал дешевле.

Мне задавалась масса вопросов, входя иногда в такие детали, что я начинал путаться и не знал, что говорить. Затем Экскузович обменялся со мной письмами, о том, что я предоставляю ему право первого представления Игрока, и пообещал доставить мне партитуру Игрока в Москву до моего отъезда за границу. Ее не дали теперь же, потому что решили предварительно переписать недостающие части.

Простившись со всеми, я возвратился в отель, где постепенно набилась масса народу: Малько, Лидуся, ездившая с Пташкой выбирать меха, Катя Шмидтгоф, кокетничашая Тамара Глебова, молчаливая Алперс. В конце концов я спохватился, что уже поздно, а у нас ничего еще не собрано.

— Господа, умоляю вас, моментально уходите, иначе мы прозеваем поезд! — закричал я им.

— Вы с таким убеждением нас выпроваживаете, что на вас нельзя даже обидеться, — несколько разочарованно сказала Тамара.

К поезду поспеваем с трудом, но вовремя. Провожают Щербачев и Миклашевский; Щербачев — просто по доброму расположению, а Миклашевский, жалуясь, что ему не дают

здесь хода и надеясь через нас зацепиться как-нибудь за границу.

25 февраля, пятница.

На этом месте прерывается мой сокращенный дневник и последующее пребывание в Москве восстановлено по записям Пташки и другим документам, вследствие чего какие-нибудь факты могли оказаться пропущенными, хотя сообщенные — несомненно точны. По приезде в Москву из Ленинграда, мы попали в тот же номер Метрополя, в котором жили до сих пор.

Я сейчас же отправился на репетицию, так как теперь из ведения Персимфанса я переходил в ведение Ассоциации Современной Музыки, во главе которой стоял Держановский. Это учреждение имело меньшие возможности, чем Персимфанс, а потому им приходилось довольствоваться обедками, оставшимися после Персимфанса. Платили они тоже меньше, но я памятуя старую дружбу с Держановским был галантен и заявил, что они заплатят мне то, что им удобно. При своей ловкости Держановский все-таки умудрился устроить два концерта с почти что новой программой. Первый концерт был симфонический и им дирижировал конечно Сараджев, ибо Держановский и Сараджев по-прежнему неразлучны. На репетицию этого концерта я и отправился сегодня.

Сараджев за эти десять лет не пошел в гору, а скорее опустился, недостаточно хватает оркестр и много тратит времени на разговоры. Это не только мое мнение, но и Мясковского. Жалко, ибо он все-таки отличный музыкант и остается не плохим дирижером.

Сегодня репетировали Классическую симфонию. Это будет ее первое исполнение в Москве — Держановскому удалось уберечь ее от Персимфанса. Колонный зал, в котором происходила репетиция, был украшен полосами красной материи, ниспадающей вертикально рядом с колоннами. Это соединение красных полос с блестящими белыми колоннами напоминало какое-то бламанже красное с белым. Опять любовался залом и думал, который же красивее, этот или ленинградский.

После репетиции мы с Пташкой повели Сараджева и Держановского в ресторан на Пречистенке есть блины, а затем, рас-

ставшись с ними, отправились к тете Кате, которая в наше отсутствие наконец прибыла из Пензы и остановилась у Нади.

Встреча была очень трогательная. Тетя Катя превратилась совсем в старушонку (еще бы, ей 69 лет), однако несмотря на свою парализованную ногу, она была необыкновенно бодрa и сохранила все свое очарование. Кузина Катя подернулась сединой. Ее глухота мешала более непосредственному общению с ней. Пташка им очень понравилась и они ей.

Вечер у нас был свободным и мы решили отправиться на концерт Метнера¹. Метнер прибыл в СССР несколько позднее меня и совершал свой цикл концертов приблизительно в тех же городах, что и я, хотя и с гораздо меньшим треском: за ним не шла толпа и не шли передовые музыканты, которые так удачно соединились в моем случае, но зато за Метнера держалась группа старых теоретиков и профессоров консерватории, которые даже поднесли ему адрес по старой орфографии, чтобы этим подчеркнуть свою точку зрения.

Сегодняшний концерт Метнера происходил в большом зале консерватории. Играл он по обыкновению хорошо, но скучновато. Загубил же концерт хромой певец, который скрипучим и не ясно интонирующим голосом пел цикл однообразных романсов и тем вогнал нас в спячку.

В антракте мы удрали к Цейтлину, который помещался тут же, почти что против артистической; заболтавшись, просидели у него остаток концерта. Все же говорят, было с одобрением отмечено, что я появился на концерте Метнера, ибо сам Метнер, вместе с окружающей его кучкой, пылал ко мне нескрываемой враждой.

Дома нашел телеграмму от Дягилева и еще одно анонимное женское письмо, пересыпанное развязностями и цитатами из Уайльда, с предложением, если "да", то сыграть на бис скерцо из Трех Апельсинов; тогда при выходе из концерта меня встретят.

26 февраля, суббота.

Подробностей об этом дне не сохранилось. Были у тети Кати. Вечером пошли в театр к Мейерхольду на Ревизора. Об этой постановке кричит вся Москва и вся Россия: одни нахо-

дят ее замечательной, другие возмущены профанацией и бесцеремонным обращением с Гоголем. Так или иначе, пьеса продолжает идти по несколько раз на неделе и билеты всегда проданы.

Нас провели прямо к Мейерхольду, с которым мы немножко побеседовали, а тем временем весь театр ждал и спектакль не начинали. Затем Мейерхольд сказал:

— Начинайте, — и как только в зале погасили свет, он провел нас в первый ряд.

Спектакль мне понравился, хотя мне показалось, что он был перегружен подробностями и выходил слишком длинным. Мейерхольд так увлекался созданием всяческих деталей, что забывал о времени. Но ведь я главным образом смотрю на Мейерхольда с точки зрения будущей постановки Игрока, а в опере эта угроза не страшна, ибо опера будет длиться ровно столько, сколько написано в ней музыки, то есть хозяин времени не Мейерхольд, а я.

В этой постановке Ревизора, у Мейерхольда нет собственно декораций, но обстановка каждой отдельной сцены помещалась на довольно тесной платформе, на которой и разыгрывалась эта сцена. Перемена декораций заключалась в том, что гасилось электричество и платформа уезжала вглубь или вбок, а другая с противоположной стороны выезжала на ее место, причем на ней стояла новая мебель и новые люди и непременно горела тусклая свеча, неясно освещающая выезжающие силуэты. Эти выезды были очень эффектны, в них была какая-то театральная таинственность.

В антракте Мейерхольд угощал нас чаем и пирожными, был чрезвычайно мил, но жадно ждал комплиментов.

27 февраля, воскресенье.

Сегодня Святославу три года, но вот уже 10 дней нет о нем известий: Грогий страдает неаккуратностью.

Днем симфонический концерт под управлением Сараджева. Для начала Держановский вытащил из пыли веков Сны, которые я было не хотел давать, но Держановский урезонил меня, говоря, что Сны была первая моя симфоническая вещь, которая исполнялась в Москве и притом Сараджевым же. А если

теперь я ушел от них вперед, то тем лучше: пусть видят, чем был я раньше и чем стал теперь.

Я слушал Сны из артистической — выходит не так плохо, мило, нежно и в достаточной мере снотворно, Классическую симфонию Сараджев сыграл недурно, но без достаточной отделки и чистоты. В сюите из Трех Апельсинов Сараджев вдруг развернулся и Инфернальную сцену, которая обыкновенно проигрывала в концертном исполнении, провел с таким шиком, что публика требовала бис.

Я играл Третий концерт и по обыкновению был большой успех и бисы, но не скерцо из Апельсинов, хотя я вспомнил об анонимном письме выходя на эстраду, подумав:

— Ведь вот теперь ждет, а какая будет досада, когда я заиграю другую вещь!

Сараджев очень подтянулся на концерте и вел оркестр гораздо лучше, чем на репетиции. Я благодарил его и обещал подарить ему мой сегодняшний галстук в память первого исполнения Классической симфонии в Москве.

Вечером мы отправились к Моролеву, который бурно требовал, чтобы я наконец побывал у него. Живет он на Марксистской улице и так как это новое название, то ни один черт не знал, где она находится. Мы наняли автомобиль и прокатали не мало денег, прежде чем попали к нему.

Он живет со всей семьей, то есть с женой и довольно взрослыми детьми, уютно, но тесно. Среди переплетенных нот я нашел и свои рукописи, в том числе марш оп. 12 в первой редакции, отрывки Первой сонаты, тоже в старой редакции и другие отрывки, которые я ему посылал в те времена, когда меня никто не печатал.

По старой традиции мы разумеется сыграли в шахматы, причем я выиграл обе партии, хотя одну Моролев и имел возможность свести в ничью. В общем я провел очень приятный вечер, но Пташка в обществе его дочек дико скучала и торопила к Держановским, где сегодня собирались, чтобы поболтать о дневном концерте и где, разумеется, были молодые композиторы, ее поклонники.

Наконец, поздно вечером мы двинулись через весь город от Моралева к Держановскому. Впрочем народу сегодня было не так много и героем вечера был Сараджев.

28 февраля, понедельник.

Перевел деньги Элеоноре и Кате Шмидтгоф. Днем в Большем театре официальные смотрины макетов Рабиновича к Трем Апельсинам. Я приглашен был присутствовать, но еле попал в театр, так как без разрешения коменданта внутрь здания не пропускали, а комендант в этот момент куда-то ушел. Попал я в театр все-таки задолго до начала осмотра, так как последний разумеется запоздал на полчаса.

На лестнице столкнулся с приехавшим из Ленинграда Эксузовичем, но он спешил предварительно осмотреть еще какую-то перестройку на сцене, так как по своему образованию он, если не ошибаюсь, архитектор.

Наконец все собрались и пошли смотреть уже виденные мною макеты. Поставлены они в каком-то узком помещении, так что все толпились и мешали друг другу. Затем в большой комнате Рабинович разложил на полу эскизы костюмов. Весь осмотр был в конце концов формальностью, так как заранее было решено, что заказ, сделанный Рабиновичу, будет принят.

Эксузович вдруг взял меня под руку, отвел в сторону и сказал:

— Относительно ленинградской постановки Апельсинов у меня замечательная идея: для Парижа мы закажем декорации Головину. Что вы об этом скажете?

Я так и ахнул.

— Иван Васильевич, но ведь Головин еще 20 лет тому назад писал декорации к Жар-Птице, когда ее ставил Дягилев, и, следовательно, для Парижа он явится не новинкой, а вчерашним холодным. Да кроме того, недавно Ида Рубинштейн¹ что-то поставила в его декорациях и это не произвело никакого впечатления.

Эксузович несколько разочарованно отошел от меня. По-видимому он совершенно не представлял себе, что с декорационной стороны может заинтересовать Париж.

Старик Сук² подошел ко мне, познакомился и сказал, что он собирался дирижировать Апельсинами, но во время его отъезда Голованов прибрал эту оперу к рукам.

— Очень ловкий человек, этот Голованов, — закончил он с чешским акцентом.

Обедали мы с Цуккером на Пречистенке. Вечером в Ко-

лонном зале была объявлена лекция Троцкого. Нам очень хотелось его послушать — Троцкий первоклассный оратор. Однако Цуккер как-то мялся и по-видимому сам не хотел хлопотать о билетах для нас, ввиду того, что Троцкий ссорится с правительством. В конце концов Цуккер позвонил кому-то из своих знакомых, который должен был в свою очередь достать через кого-то. Но там ответили, что ни одного свободно-го места на лекцию нет. Так мы и не попали и вместо этого отпра-вились на концерт Персимфанса, посвященный памяти Бет-ховена, в котором Цейтлин играл Бетховенский скрипичный концерт. Конечно это было не очень весело и Цейтлин не перво-классный скрипач, но ввиду его забот о нас не пойти было не-льзя.

По дороге из ресторана на концерт я стал осторожно при-жимать Цуккера на предмет освобождения Шурика, говоря ему, что в конце концов что-то неладно, ибо за несколько не-дель он не может сдвинуть это дело с места. По-видимому так и было: Цуккер по существу трус или же просто он не желает в-путываться в "контрреволюционное дело". Это отчасти выяс-нилось из его дальнейших и запутанных ответов. Я просил его высказаться яснее, ибо если ему неприятно браться за это дело, то я попробую, пока еще есть время, другие ходы. Например, мне говорили о политическом красном кресте, оказывающем помощь "политически-больным" или же я могу поговорить об этом с Мейерхольдом — "почетным красноармейцем", у кото-рого вероятно не мало поклонников в коммунистических вер-хах. И о том, и о другом ходе Цуккер отозвался с некоторым раздражением, находя политический красный крест учрежде-нием беспомощным, а Мейерхольда — человеком, не пользую-щимся достаточно хорошей коммунистической репутацией, чтобы влиять на освобождение политически неблагонадежных. Словом, по Цуккеру выходило, что куда не кинь, все клин. Это меня разозлило и положило легкую трещину на наши от-ношения.

Цейтлин очень благодарил нас за то, что мы посетили его выступление.

Когда мы после концерта ехали домой мимо Колонного зала, то вокруг здания чернела довольно большая толпа наро-ду. Чувствовалось, что вокруг лекции Троцкого атмосфера за-ряжена электричеством, и мы обрадовались, что не попали на

нее: еще влипнешь в какую-нибудь политическую историю. Это совершенно излишне. Шурика, например, и без того трудно выпутывать.

1 марта, вторник.

Держановский сказал, что во главе политического красного креста стоит Пешкова, бывшая жена Горького¹. Он с ней знаком и осторожно говорил о моем деле. Вообще же с ней можно говорить совершенно откровенно, потому что она для того и существует, чтобы спасать людей, влипших в политическом отношении. В царское время ее организация политического красного креста уже существовала, но тогда нелегально и, разумеется, в обратном направлении, то есть в то время она спасала социалистов и коммунистов. Благодаря этим заслугам, ей удалось добиться у советского правительства легального положения. Большевики, скрепя сердце, ее терпят и ее ходатайства исполняют по возможности реже, впрочем, кое-какой актив у нее имеется.

Мы с Держановским решили отправиться к ней, тем более, что она помещалась на Кузнецком мосту, недалеко от Международной Книги, где работает Держановский. Поднимаясь по лестнице, я чувствовал себя несколько не по себе, как-будто шел в антиправительственное учреждение по конспиративному делу.

Пешкова приняла нас очень любезно и несколько туманно припомнила фамилию Раевского, сказав, что кажется по этому делу они уже хлопотали. Для справки она позвала из другой комнаты своего помощника, еврея, говорившего на ужасающем русском языке, и тот, справившись в своей записи, сообщил, что в числе других они хлопотали за Раевского и что благодаря их усилий Раевскому был сокращен срок на треть. Это верно, но я не знал, что это благодаря политическому красному кресту. С чрезвычайной простотой она сказала мне следующее:

— Видите ли, если бы вы сами поехали в Г.П.У. хлопотать за Раевского, то может быть они и исполнили вашу первую просьбу, но исполнение этой просьбы они вам бы запомнили и при случае использовали бы. Поэтому я не советую вам обра-

щаться лично. Но я сама как раз еду в Г.П.У. по другим делам и буду говорить с одним из ближайших сотрудников Менжинского (кажется она называла тов. Ягоду). Я постараюсь тогда навести разговор на вас и так как он естественно поставит банальный вопрос: "ну что, доволен ли Прокофьев своим приездом в Москву", то я отвечу: "очень доволен, хотя его и огорчает пребывание его родственника в тюрьме". Таким образом мне быть может удастся обрести какие-нибудь облегчения Раевскому без просьбы с вашей стороны.

Я поблагодарил за блестящий план, а Пешкова обещала о результатах позвонить завтра Держановскому и сообщить ему в иносказательной форме, чтобы опять-таки, даже телефонно, не впутывать меня в эту историю. Эта деликатность Пешковой доказывает все-таки насколько осторожно приходится орудовать с подобными вопросами.

Пташка днем ходила с Цуккером в Госторг, чтобы посмотреть меха. Цуккер добился для нее протекции, заключавшейся в том, что ей должны были показать меха, предназначенные для вывоза за границу, то есть лучшие и уступить их за свою цену. Кроме того Пташка побывала у тети Кати, ехала от нее в санях и вместе с санями упала на мостовую, так как полоз попал в трамвайный рельс. По счастью снег был довольно мягкий и она не ушиблась.

Вечером нас ждали в Камерном театре, но я был кислый и Пташка отправилась одна.

2 марта, среда.

Сегодня днем я должен был играть для московской консерватории. Разница с ленинградской консерваторией была та, что на этот концерт билеты были платные и сбор шел в пользу кассы учащихся. Утром мне кто-то позвонил и спросил, играю ли я сегодня. Я ответил, что кажется играю, но что об этом вообще говорилось давно, а теперь мне никто даже не сообщил, в котором часу и состоится ли в конце концов мое выступление.

По-видимому этот телефонный разговор был передан в консерваторию, потому что часа через два после него ко мне вдруг ввалился директор Игумнов и представитель от учени-

ков. Они приветствовали меня, благодарили за согласие выступить у них и сказали, что в 3 часа за мной будет прислан автомобиль. Я чувствовал себя несколько смущенным, так как приличие требовало, чтобы я, как приезжий, первый сделал визит директору консерватории, а не ждал бы, чтобы он сам приехал ко мне.

Игумнов вскоре уехал, а я решил на другой день отдать ему визит.

В 3 часа действительно за нами приехал автомобиль и мы отправились в Большой зал консерватории, который был полон. При входе на эстраду меня приветствовали речью, поднесли мне бювар и корзину цветов. Затем я играл приблизительно то же, что для учеников ленинградской консерватории, хотя и не испытывая в "чужой" консерватории того же волнения, как в своей.

По окончании программы в фойе был сервирован чай, на котором присутствовали человек двадцать, в том числе Игумнов, Яворский, Гнесина и Борисова. Ученики в это время толпой спускались по лестнице, направляясь к выходу. Увидев меня, они устроили дополнительную овацию, которая мне была очень приятна.

Вечером мы были у Ламма, знакомство с которым восходит еще к первым композиторским выступлениям в Москве — Мясковского с "Молчанием" и меня со "Снами". Ламм — немец по происхождению, о чем все забыли. В 1914 году, когда началась война, вдруг выяснилось, что у него паспорт немецкий. Тогда его интернировали куда-то на Урал, где он прожил всю войну, развлекаясь от нечего делать переложением в восемь рук симфоний. Таким образом он переложил все существующие русские симфонии и когда по окончании войны вернулся в Москву, то этот порок сделался ему настоящей необходимостью и он стал перекладывать все появляющиеся новые симфонии. Таким образом оказался переложенным весь Мясковский и целый ряд молодых композиторов.

После революции, стараниями Мясковского и других, устроили Ламма управляющим Музсектором, но из-за чьей-то грязной интриги, со скандалами, обысками и арестами, его с этого места согнали. Теперь он просто профессор консерватории, имеет две больших комнаты в здании консерватории и в одной из них — два рояля. Последнее обстоятельство побудило

целый ряд друзей устраивать у него "среды", на которые собирались и музицировали, а угощение покупали в складчину.

Вот на такую "среду" и пригласил нас сегодня Мясковский. Кроме него присутствовали Фейнберг, Александров, Шеншин, Шебалин, Гедике¹, Мелких, Сараджев, В.Беляев и еще несколько человек. Когда я что-то по неосторожности хотел проехаться на счет Метнера, меня толкнули в бок, чтобы я молчал, так как Гедике его приятель и болезненно воспринимает всякое хуление последнего.

После чая с закусками музицировали: была сыграна в восемь рук 7-ая симфония Мясковского, причем я следил по партитуре, но симфония мне понравилась гораздо меньше, чем 8-ая. Затем Мясковский попросил, чтобы я терпеливо выслушал симфонию Шебалина, которая немножко длинная, но очень интересная. Действительно, симфония была минут на 45, без чрезмерной яркости, она все же не была лишена интереса. Когда потом автор подошел ко мне, я не знал, как высказаться, ведь это целое искусство уметь высказываться о сочинениях, которые вам играют. Я отделался вопросом, в каком положении партитура и материал, на случай, если за границей мне удастся заинтересовать кого-нибудь из дирижеров. Но партитура оказалась еще незаконченной, а материал неперепи-
санным.

Чай и две симфонии заняли довольно порядочно времени и лишь в два часа ночи мы отправились домой.

3 марта, четверг.

Половина одиннадцатого утра зашел за Пташкой Протопопов и повел ее осматривать Василия Блаженного. Он знаток по этой части и давал ей интересные объяснения.

Я же отправился на репетицию квинтета в консерваторию — к камерному вечеру, устраиваемому Держановским. Участники очень старались. Все они были отличными музыкантами и письмо квинтета не слишком пугало их, но все же на этой репетиции он шел неважно. Репетиция вызвала интерес в профессорских кругах консерватории и некоторые из них заходили послушать.

Гольденвейзер сидел рядом со мной за партитурой, про

квintет не говорил, но спрашивал, когда же мы наконец сыграем в шахматы. Однако голова моя была занята другими вещами, проигрывать же Гольденвейзеру я не хотел, потому я уклонялся от сражения.

Приходил также Брандуков¹, известный своей непримиримой позицией по отношению к большевикам.

— Ну что, нравятся вам наши здешние порядки? — сразу заговорил он со мной, и я рад был, когда он ушел.

Недавно пяти музыкантам было присуждено звание заслуженных артистов, в том числе Мясковскому и Брандукову. Когда это присуждение поступило на утверждение правительства, последнее признало четырех, а Брандукову отказало.

Меня поймал Игумнов и сказал, что из-за какого-то заседания он никак не может быть дома сегодня в два. (В 2 часа я хотел побывать у него с ответным визитом). Не могу ли я приехать в 4 часа. Но в четыре я еще вероятно буду занят с Мейерхольдом, а завтра целый день занят у Игумнова. Словом, с моим визитом к директору выходила комическая неурядица. Так я у него и не побывал.

В 3 часа дня ко мне пришел Мейерхольд, побеседовать об Игроке; кстати прибыли уже из Акоперы старые литографированные клавиры. Я просил Мейерхольда дать мне некоторые сценические советы, которые я мог бы использовать при переделке, в целях улучшения сценичности либретто, но ничего от него не добился. Спрашивал у него и о том, как бы изменить самое заключение оперы, где объятия Полины и Алексея казались мне сценически неприятными. Мейерхольд отвечал, что да, конечно, что как-нибудь лучше изменить, но как, он не видел и вообще хорошо бы на эту тему поговорить с Андреем Белым, которого он постарается вытащить для этого из окрестностей Москвы, где он живет.

Перед уходом Мейерхольда мне удалось непринужденно направить разговор на Шурика. Мейерхольд выразил живейшее участие и воскликнул:

— Подождите, у меня есть приятели в Г.П.У. Я им шепну словечко, но тодько вы дайте мне детальные данные о том, когда и за что он был приговорен.

На этом мы расстались, уговорившись, что в ближайшее время я должен буду к нему приехать обедать. Охота, с которой Мейерхольд взялся за дело Шурика выгодно отличалась от вытанутой физиономии Цуккера.

Пташки не было дома во время визита Мейерхольда, так как ей надо было съездить к жене Литвинова. Ева Вальтеровна Литвинова, по происхождению англичанка, была так довольна встретить в лице Пташки не только чисто говорящего по-английски, но и по воспитанию близкого к англо-саксонской культуре, что взяла с Пташки обещание побывать у нее. Сама Литвинова представляла мало интересного, но на любезность высокопоставленных лиц необходимо было отвечать любезностью — и сегодня Пташка отправилась к ней на Софийскую набережную.

Литвиновы занимают шикарный особняк, принадлежащий раньше Харитоненкам, купцам, людям чрезвычайно богатым². Если я не ошибаюсь, то как раз в этом особняке я завтракал в мае 1918 года, за несколько дней перед тем, как покинуть Россию. Пригласил меня туда князь Горчаков, родственник Харитоненков и живший у них. Пташка нашла особняк огромным и красивым, но не жилым и содержащимся в большом беспорядке.

Ева Вальтеровна угощала ее чаем. Пришли ее дети, с виду довольно грязные и распушенные, хотя и довольно миленькие. Глядя на их дурные манеры, Литвинова выражала желание в будущем воспитывать их в Англии. Забавно, что эти мечты совпадают с ядовитыми нотами, которые в это время ее супруг посылал в Англию.

Вечером мы отправились в Малый театр на "Любовь Яровую", пьесу из периода революции, о которой много говорят. Между прочим, Любовь — это имя, а Яровая — фамилия героини пьесы. Пьеса сделана очень живо. Хорош следующий технический прием: в тот момент, когда действие склоняется к трагическому или жалостливому (разорение, предательство, грубость и т.д.), автор сейчас же перебывает действие каким-нибудь вводным комическим эпизодом, который сразу очищает атмосферу и дает возможность спокойно продолжать дальнейшее. К сожалению пьеса в последнем действии превращается в агитку, что портит ее общий стиль. Но может быть автору пришлось сделать эту концессию, чтобы пьесе не наступили на ногу. Главная героиня — преданная революционерка, производит своей внешностью скорее отталкивающее впечатление. Это уже постаралась контрреволюционная режиссура.

4 марта, пятница.

Утром приходил скрипач Цыганов¹ репетировать со мною песни без слов для камерного концерта. Цыганов играет хорошо; я, наоборот, в достаточной мере забыл фортепьянную партию и вру. Цыганов выступает в одном концерте со мною, а в другом — с Метнером, и сейчас он приехал ко мне прямо от него. Смеясь, Цыганов рассказывает, что жена Метнера, узнав об этом, проводила его кислой гримасой.

Пташка ездила с Цуккером в Госторг и вырала себе отличный голубой песец. Кроме того, завтра из холодильника обещали достать белку. Раньше белка в России презиралась, но за границей она теперь в почете, о чем спохватились и в России, набивая на нее цены.

Самойленки очень просили нас посмотреть, что случилось с их квартирой и сегодня мы отправились на рекогносцировку. Квартира конечно оказалась заселенной массой семейств, но главными комнатами все еще владела бывшая прислуга Самойленков. Она сначала ничего не хотела слушать, но потом впустила нас, была любезна и показала целую кучу фотографий Бориса Николаевича², ибо он просил, если можно, привести что-нибудь из них. Был и портрет его маслянными красками с бачками и в гвардейском мундире, а потому мы его и не взяли, боясь нарваться на неприятность при таможенном осмотре.

Были у тети Кати, которой, по случаю масленицы, привезли свежей икры, а она угощала нас блинами. Затем я отправился к Кучерявому, а Пташка с Катечкой и Надей — в Художественный театр, на Царя Федора Иоановича³. Кучерявый живет в довольно пустынном месте, в районе Тверской Ямской, но в новом доме, заселенном главным образом рабочими. У него маленькая, но чистенькая и притом отдельная (что особенно редко для теперешней Москвы) квартира. По сравнению с первыми письмами, которые он мне посылал по возвращении в СССР, тон его заметно понизился. Тогда он писал, что все должны возвращаться в СССР, независимо от своих симпатий, с единой целью приложения своих рук для восстановления хозяйства. Теперь он жаловался, что невозможно работать: всё и все мешают, а уж такая казенная волокита, что сил нету. Все грандиозные проекты — на бумаге. Надо было оставаться в Америке, но затащила его жена, которая тосковала по Моск-

ве, а теперь сама рвется вон. Лиза, которую я знал в Америке девятилетней девочкой и которая с азартом дралась со мной на кулачках, теперь превратилась в поклонницу моей музыки, а ее подруга в таком диком восторге от моих концертов, что Лиза стала выпрашивать для нее мою фотографию с надписью. На прощание, Кучерявый понизил голос, просил меня по возвращении за границу, снестись с директором крупной германской клееваренной компании, с которым Кучерявый уже имел дело и с которым не хотел терять сношений, дабы в случае чего, иметь ход за границу.

Домой я шел пешком через всю Тверскую и покупал на улице теплые баранки.

Пташка осталась довольна спектаклем, но ее волновало неосторожное поведение Катечки и Нади, которые в театре отпускали такие фразы:

— Ах, как чудно было в те времена! (то есть царя Федора Ивановича).

— Ах, как я люблю эти костюмы!

— А в программе опять объявление об этих красноармейских займах! Вот надоели!

Хотя Катя говорила это шопотом, но так как она глухая, то шопот выходил громогласный и Пташка толкала ее в бок, причем та не понимала, почему ее толкают.

5 марта, суббота.

Утром я опять пошел на репетицию квинтета, а Пташка — смотреть меха. Других сведений про первую половину этого дня не сохранилось.

В 5 часов мы пообедали у Мейерхольда, который живет на Новинском бульваре, во дворе, в старом, покривившемся доме. Внутри впрочем уютно. Белый приехать из своего пригорода не мог, ибо в данный момент он очень занят своей работой и никуда не показывается. Я мало возлагал надежд на его советы в Игроке, но все же пожалел об его отсутствии, было бы приятно поболтать и посмотреть на него. Мейерхольд показывал картину, которую послал ему Дмитриев, художник, делавший в Ленинграде декорации к Трем Апельсинам. Картина в довольно фантастическом виде изображает рулетку и является

по-видимому намеком на то, что декорации Игрока должны быть поручены ему — жест, не обличающий серьезного автора.

Я:

— Мне не понравились Дмитриевские декорации Апельсинов.

Мейерхольд:

— Мне тоже. В данном случае я не пойму его намека.

Я:

— Кого же вы имеете в виду для декораций?

Мейерхольд:

— Об этом надо еще подумать. Ставя Ревизора ведь я по существу обходился без декоратора.

Появилась его жена¹, до Мейерхольда бывшая замужем за Есениным. Двое детей от последнего жили теперь у Мейерхольда.

Сели за обед, который завершился превосходной дыней — очень эффектно для марта месяца и Москвы, покрытой снегом. В Ревизоре в последнем действии на сцене подают дыню и в публике многие, глотая слюни, сомневаются, не из папье-ли маше она. Мейерхольд объяснил, что дыня самая настоящая и что подобный сценически-вкусовой эффект он считает довольно удачной находкой. Дыни эти он покупает в бывшем магазине Елисеева — и когда сегодня перед обедом он зашел туда, то у него спросили, надо ли эту дыню записать на счет театра.

Так как клавир Игрока уже стоял на пюпитре Мейерхольдовского рояля, я кое-что поиграл оттуда Мейерхольду, главным образом из партии бабуленьки, которая, как мне казалось, должна была подвергнуться наименьшей переделке в будущем. Я давно не смотрел Игрока и теперь играл его не без удовольствия.

После обеда Пташка уехала на Снегурочку² в Большой театр. Ей было предоставлено место в ложе художественного совета. Пташка учит партию Снегурочки и нельзя было пропустить случай увидеть эту оперу на Московской сцене. Я же с Мейерхольдами, мужем и женой, отправился в его театр на Великодушного Рогоносца, переводную пьесу, которую Мейерхольд все же хотел мне показать, так как она была поставлена на совсем других принципах, чем Ревизор. Пока мы ехали туда в таксомоторе, жена Мейерхольда рассказывала, что он очень любит ездить в спальнях вагонах. Мейерхольд прибавил задумчиво:

— Да, я люблю...

Словом, почетный красноармеец заражается буржуазными наклонностями.

В постановке Рогоносца было введено много условно-театрального, в новом смысле этого слова: целый ряд условно-конструктивных декораций и условно-гимнастических движений, изобретением которых Мейерхольд по-видимому увлеклся до того, что опять-таки страшно замедлил темп пьесы. А это досадно, так как автор Рогоносца, завязав интригу довольно ловко, не сумел распутать ее достаточно интенсивно и поэтому к концу спектакля интерес падает.

В антрактах Мейерхольд демонстрировал мне гармонистов, замечательных виртуозов своего дела, которые играют у него в Лесе Островского. Слышать их было очень интересно, так как они придумали немало оркестральных эффектов. На вопрос, что я могу порекомендовать им из моих сочинений, я подумал и предложил дешевовское скерцо оп. 12 — думаю, что на гармошках оно вышло бы презанятно.

В Жизни Искусства против меня выпад: почему я наконец не открою своего лица и не скажу прямо о моем истинном отношении к советской власти. По-видимому журналу очень не хотелось помещать этого выпада, но уклониться от помещения тоже было нельзя. Поэтому он оказался помещенным между чрезвычайно хвалебной статьей обо мне и статьей о Метнере, в которой сводится на сравнение со мной в мою пользу. Я сказал Мейерхольду:

— Послушайте, я должен выступить с ответным письмом на этот выпад!

Мейерхольд поморщился:

— Не стоит впутываться в эти мелочи. Сохраняйте олимпийское молчание. Я издаю мой театральный журнальчик специально для того, чтобы переругиваться с теми, кто нападает на меня или на артистов, близких мне по мысли. В этом журнальчике я сумею им ответить за вас.

Так я и не реагировал на этот выпад. Любопытнее всего, что эмигрантская пресса, не упомянув ни об одной из множества хвалебных статей, посвященных мне в СССР, перепечатала только этот выпад. Мол, Прокофьев поехал в советскую Россию — и вот вам результаты.

6 марта, воскресенье.

Днем мой камерный концерт в Ассоциации Современной Музыки. Приятно было, что он происходил в Колонном зале, а не в консерватории. Я немного запоздал и не слышал, как Фейнберг и Ширинский¹ сыграли мою балладу. Вторым номером Цыганов и я играли все пять песен из оп. 35. Цыганов играл хорошо, лучше, нежели я аккомпанировал, но успех был средний. Отчего бы? После скрипичных пьес следовал квинтет и тут московские музыканты развернулись и сыграли его с неожиданным блеском и увлечением. Квинтет звучал отлично. Конечно со временем будут играть еще лучше, но все же это исполнение несравнимо с бостонским, когда Кусевицкий² говорил мне:

— Дорогой мой, эта вещь совершенно не звучит.

Я страшно доволен и наслаждаюсь во время исполнения: неизвестно почему, заживо похороненный, воскрес покойник. У публики значительный успех. Конечно успех не равнялся успеху моих популярных вещей, но все же чувствовалось, что публика слушала с интересом и что ей нравилось. Музыканты поздравляют и жмут руки. В совершенно невероятном восторге Мясковский:

— Совершенно невероятно! Нет ни одного такта, где интерес чуточку бы падал.

После квинтета антракт и артистическая наполняется народом. Среди других приходит Рабинович и Дикий, которые несколько обиженно упрекают меня за письмо, которое я написал Экскузовичу, хваля ленинградскую постановку Апельсинов. Это письмо Экскузович моментально напечатал в газетах, и Рабинович с Диким считают, что оно может служить козырем Мариинскому театру для того, чтобы повезли за границу его постановку, а не готовящуюся в Москве. Я их всячески старался успокоить. Появляется Мейерхольд и я знакомлю его с Надей на предмет Шурика.

Второе отделение начинается Пятой Сонатой. Это первый раз в Москве, что я играю ее корректно, но успех сдержанный — вещь не для публики. Затем следуют пьески из оп. 12 и Наваждение. Публика устраивает огромную овацию, думая, что это последнее мое выступление и прощаясь со мной. Дневной концерт оканчивается довольно рано, так как вечером мы уез-

жаем на Украину и надо торопиться, а до вечера программа дня еще довольно обширная.

Едем обедать к Держановскому, где центром разговора является квинтет, захваливаемый Мясковским. Затем коротенький визит к тете Кате — и домой, укладывать чемоданы.

Когда выходя от тети Кати мы подзывали таксомотор, неизвестно откуда выскочил и стал здороваться с нами Меклер. Можно было подумать, что он нас сторожил. Он страшно волновался относительно моих концертов: уж если я обидел его в этом сезоне, то чтобы непременно работал с ним осенью. Так как мы торопились, то я предложил ему сесть в автомобиль, и по дороге он развивал планы будущих концертов, предлагая по 1000 рублей за провинциальные концерты, а за столичные больше. По его советам выходило, чуть ли не 20 концертов с гонораром в 20.000 рублей. Уже выйдя из такси и поднимаясь по лестнице, он совал мне в руку пачку денег, говоря: — Здесь 1.000 рублей, а еще 4.000 я вам донесу завтра.

Эти 5.000 должны были идти в качестве задатка под осенние концерты. В общем сумма выходила большая и деньги бросались будто бы на ветер, а все-таки Меклер казался не серьезным, почти что клоуном. Кроме того мне совершенно не хотелось еще думать о будущем сезоне и брать обязательство на Россию, где все так сложно и неустойчиво. Я вернул ему пачку денег и просил отложить разговоры до моего возвращения с Украины.

В промежутках между укладыванием чемоданов вваливаются Разумовский, с которым сложные переговоры об авторских правах, Цейтлин и Цуккер. Цуккер докторальным тоном дает понять, что мне было бы весьма полезно вскоре совсем переселиться в СССР, хотя бы для того, чтобы спокойно работать, что на его взгляд вполне возможно. Цуккер определенно меня раздражает.

Погрузившись в автомобиль, едем на Курский вокзал, столь хорошо мне знакомый с детских времен, когда мы переезжали в Москву из Сонцевки. Но времени мало; наскоро закупив в буфете несколько съедобных вещей, мы погружаемся в спальный вагон. Купе просторное, но вагон старый и скрипит. Поезд не нарядный — наш вагон единственный привелигированный, остальные все III класса. Вагона-ресторана нет. В 11 часов вечера поезд отходит и мы отправляемся на шесть кон-

цетров на Украину: два в Харькове, два в Киеве и два в Одессе.

7 марта, понедельник.

Целый день едем в Харьков. Эта линия знакома мне с детства — и столько воспоминаний связано со всеми проезжаемыми станциями. В Курске пьем кофе и покупаем куски жирного гуся. Мелькает Солнцево, у которого не останавливаемся; я стою у окна. Вот и Белгород, где мы выходим погулять. Немного пахнет югом и весной, но дует холодный ветер. Сколько раз проездом через Белгород мы ели здесь знаменитые белгородские щи, которыми славился этот вокзал.

В Харьков приезжаем половина шестого вечера. На платформе Тутельман, Воробьев и Дзбановский. Воробьев — это тот самый член украинского правительства, который посылал Персимфансу телеграммы, угрожая, что если я, вместо Украинских Гостеатров, выступлю в Харькове от какой-нибудь другой организации, то мои концерты допущены не будут. Тогда и Цейтлин и я очень возмущались и прямо готовы были поднять перчатку и сыграть ему в пику. Но теперь, когда в конце концов я поехал на Украину по контракту с Украинскими Гостеатрами, Воробьев встретил меня на вокзале в облике очень приятного и скромного человека. Нас усадили в довольно хороший открытый автомобиль и повезли через весь город в Красную Гостиницу, по-украински — Червоную. Харьков (по-украински — Харків), большой, грязный и некрасивый. Ближе к центру имеются недурные дома немецкого типа. Вообще оказывается немцы сыграли не последнюю роль в харьковской архитектуре.

По контракту, гостиницы были за счет Гостеатров. Нам был отведен огромный номер из двух комнат с ванной, в достаточной мере нелепый. В ванне, например, течет только горячая вода и чтобы ее принять — надо напустить и ждать полчаса, чтобы она остыла. Из номера телефон прямо в город, а звонка к официанту нет, так что я искал в телефонной книжке № нашего отеля, дабы позвонить туда по городскому телефону. Рояль мне в номер не прислали, но повели в соседний номер директора гостиницы, где я и упражнялся в течение некоторого времени.

Вскоре концерт. Театр полон. Рояль довольно недурной. В мою программу входят Третья и Вторая сонаты, мимолетности, мелочи и токката. Большой успех, крики и бисы.

В антракте появляется Штейман¹. Он потолстел и будто обижен на свою судьбу. Действительно, блестящее предсказание Черепнина он не оправдал, но все же — главный дирижер украинской оперы. За Штейманом появляется Лапицкий². У него будто грубоватые манеры, но я знаю, что он интересный человек. В свое время он много сделал, пытаюсь оживить сценическую сторону оперы, а это очень близко моей душе.

В конце концерта появляется Вера Реберг³, от которой я получил уже письмо. Несмотря на свое болезненное детство — она выглядит недурно. Пообещав навестить ее завтра, мы поспешили домой, ибо я устал после суток в поезде с концертом в придачу. Вообще я все время устал со дня приезда в СССР.

Вернувшись домой хотели взять ванну, но у нее частями соскочила эмаль и она выглядела какой-то прокаженной. Долго пытались добиться кого-нибудь из отельной прислуги, но это было не так просто, так как сегодня были какие-то выборы и прислуга вотировала. В конце концов нам объяснили, что ванна такая рябая не от грязи, а от чистоты, ибо после каждого постояльца ее моют кислотой, съевшей эмаль. Все же мы отложили удовольствие выкупаться до Киева.

8 марта, вторник.

Казалось бы свободный день и можно отдохнуть. Но все время являлись разные люди. Из них самым интересным был Лапицкий, который явился с клавиром Апельсинов, в достаточной мере разученным, ввиду проекта постановки в Харькове. Я должен был играть ему Апельсины и сообщать, каким образом то или другое было сделано во время других постановок. Лапицкий разошелся и говорил, что я единственный оперный композитор, и что со мною он хотел бы создать что-нибудь новое. Я охотно высказывал ни к чему не обязывающее согласие, ибо мне казалось, что Лапицкий, с его любовью к сцене, мог дать мне интересную тему и интересно осветить ее.

За Лапицким числится немало промахов по части хоро-

шего вкуса, но это не уменьшает скрытой в нем потенциальности.

Днем я вышел погулять и в магазине, под названием "Пролетарий", увидел выставленные мои сочинения, но не в оригинальном издании, а контрафактно¹ перепечатанные Украинским издательством. Я не удержался и пошел в магазин объясняться. Объяснив, кто я и что за издание у них выставлено в окнах, я спросил, на каком основании они продают их.

— Нас снабжает ими Киевское музыкальное предприятие, — ответил мне заведующий магазином.

— Но это предприятие незаконным образом напечатало мои сочинения и вы находитесь на положении лавки, торгующей краденным товаром.

Заведующий оглянулся по сторонам и, понижая голос, сказал:

— Не говорите пожалуйста так громко. Подобные выражения могут произвести неприятное впечатление на покупателей.

— Очень жаль, что ваша деятельность такова, что о ней можно говорить только шопотом.

В общем разговор мало к чему привел, так как по-видимому надо было нападать не на лавку, а на само издательство. Заведующий магазином впрочем обещал впредь обращаться в Москву за оригинальным изданием, по его словам, из Москвы заказы исполняются не так аккуратно, как из Киева.

Вечером с Пташкой отправились к Ребергам. Шли пешком по довольно пустынным переулкам, где лежало много снега. По дороге вспомнили, что на юге немало беспризорных, которые бегают целыми бандами, причем один из них бросается под ноги прохожим, сшибая их, а в это время другие обирают сумочки и кошельки, нередко тыкая ножами или кусая сифилитическим укусом. Впрочем, на нашем пути улицы были тихие и сонные.

Вера Реберг пошла по медицинскому пути своего отца. С ней живет ее мать, Мария Иосифовна, теперь уже совсем старушка, необычайно милая: старость украсила ее. С большим одушевлением вспоминала она года Сонцевки и Голициновки. Нина замужем; имеет двух детей и живет в нескольких часах от Харькова. Однако на мои вопросы о ней, Вера отвечала неохотно: должно быть что-нибудь не ладилось. Зина умерла уже

несколько лет, у нее всегда было плохое сердце. Мы провели очень приятный вечер. И мать, и дочь были тронуты нашим визитом.

9 марта, среда.

Продолжал разговоры с Лапицким и доигрывал ему Три Апельсина.

Заехал Розенштейн, чтобы вести нас в консерваторию. Розенштейна я знаю давно: он виолончелист и бывший воспитанник Петербургской консерватории. Он был одним из первых исполнителей моей баллады, которую мы с ним играли на каком-то концерте еще в консерваторские времена. Теперь он директор Харьковской консерватории и вчера ввалился ко мне упрасывая во имя нашей старинной дружбы (хотя никакой дружбы не было), сыграть для учеников его консерватории. Я никогда не отказываюсь играть для учеников консерватории и даже люблю это делать. В результате я выступил сегодня перед веселой и приятной молодежью, с гавотами, сказками, маршами, словом, всякой мелочью. После исполнения в зале оглушительный треск. Ученик говорит мне речи по-украински. Все время слышно "перший", то есть первый (первый композитор, первый приз, первое знакомство и т.д.).

После консерватории по хорошей погоде шли в Червоную гостиницу, с Розенштейном и еще несколькими профессорами. Какие-то консерваторки все время следовали то сзади, то спереди. Сначала я не обращал внимание на это, потом стало смешно, потом навязчиво, — но перед самым отелом они вдруг собрались в группу, стали толкать друг друга: "ну, иди же", и наконец подошли ко мне, причем каждая вручила по букетику белых цветов, которые по случаю наступления весны продавали на перекрестках. Это вышло вовсе мило.

Вечером второй концерт. Пятая и Четвертая сонаты, что очень глупо, так как Пятую никто не понимает, а Четвертая слишком медлительна, чтобы вызвать энтузиазм, но у меня ничего не приготовлено, чтобы выбросить эти сонаты и заполнить пустоту. Когда я об этом сказал в Москве Тутельману, он ответил:

— Ничего, сойдет. Только играйте Четвертую и Пятую

сонаты во втором концерте, тогда это не отзовется на продаже билетов, а после вы ведь все равно уезжаете из города.

Однако гавоты, отрывки из Апельсинов и Наваждение, которыми я закончил концерт, расшевелили публику и по обыкновению создали большой успех.

После концерта устроители хотели делать мне ужин, но я взмолился, чтобы меня избавили от него.

Художник Хвостов показывал эскизы костюмов для харьковской постановки Апельсинов — смесь современного с фантастическим. Трудно судить, но пока эти костюмы мне не особенно нравятся.

10 марта, четверг.

Утром приходил ко мне квартет имени Леонтовича играть сочинения современных украинских композиторов. Когда я спросил, кто такой Леонтович, то оказалось, что это национальная гордость Украины, композитор, погибший во время революции. Кажется тогда его расстреляли большевики, а теперь учредили квартет его имени. Сегодня квартетисты сыграли мне сочинения Лятошинского¹, Лисовского, Новосацкого и Козицкого. Все это могло бы быть написано 50 лет тому назад и тогда было бы довольно приятной музыкой; сейчас же это — мало кому нужные провинциальные потуги.

Днем заходил к Туркельтаубу, представителю Украинского общества авторов, носящего ласковое название Утодик, что означает — Украинское товарищество драматургов и композиторов. Так как это общество работает совместно с московским, то я интервьюировал Туркельтауба насчет киевских перепечаток, а также спрашивался, какой гонорар способна мне платить Харьковская Госопера в случае постановки Апельсинов. Оказалось, что Госопера, ведя переговоры с Вебером, предложила так мало, что мы даже подняв эту сумму, запросили с них вдвое меньше, чем они способны платить. Правда пока переговоры ни к чему еще не привели, но это важно знать для будущего.

Вечером выехали в Киев, причем Тутельман ехал с нами, а Воробьев, тот самый важный коммунист, провожал нас на вокзале. Несмотря на то, что мы с нашими вещами были гото-

вы вовремя, Тутельман не торопился и все время ждал автомобиль, который должен был за нами заехать. В последний момент выяснилось, что автомобиль не приедет и тогда началась страшная спешка. Достали двух лихачей, на одного сели с Пташкой, с чемоданами, на другой — Тутельман и Воробьев, и начался бешеная скачка через весь город. Грязь была ужасная, снег, лужи и ухабы. Нас обдавало с ног до головы и даже по возвращении в Париж я находил на чемодане остатки харьковской грязи.

На вокзал попали вовремя, но тут выяснилось, что несмотря на все влияние Воробьева, невозможно было достать для нас с Пташкой отдельного купе, что было весьма досадно, так как завтра в Киеве я прямо попадал в концерт и хотелось перед ним выспаться. Тутельман волновался, бегал, вызывал начальника станции и в конце концов к самому отходу поезда мы ввалились в коридор вагона. Выглядело, будто в этом коридоре мы и будем спать, но на самом деле все обошлось относительно благополучно. Правда, ни отдельного купе, ни подушек, ни постельного белья, мы не получили, но Пташку поместили в маленькое купе с какой-то делегаткой, а меня и Тутельмана — в большом, четырехместном, с двумя пассажирами, причем Тутельман всячески старался быть любезным, уступил нижнее место, предложил надувную подушку, которая была у него в чемодане.

Затем он занимал меня разговорами о том, как много он пьет и о том, как скрипач Кубелик² приезжал в Харьков с лакеем негром. В Америке с черным лакеем его вероятно не пустили бы ни в один приличный отель, но в Харькове это производило сильное впечатление.

Соседка Пташки оказалась очень важной украинской делегаткой, имеющей отношение к украинскому правительству. Это была совсем простая женщина, которая с удовольствием рассказывала про деревню и про своих пятерых детей.

11 марта, пятница.

Так как при поезде не было вагона-ресторана, то проснувшись утром я на большой станции пошел пить кофе. Несмотря на толкотню у стойки, мне удалось не только выпить свой

кофе, но и принести Пташке в вагон, заплатив в буфете стоимость стакана и ложки, каковые Пташка затем подарила своей правительственной соседке, взявшей их с удовольствием.

В Киев приехали только в час дня — поезд на этой линии плетется не Бог весть как скоро. Перед Киевом поезд медленно шел по мосту через Днепр, еще частично прикрытый льдом. В это время лед взрывали динамитом, дабы предотвратить наводнение и это было очень красиво.

В Киеве нас встретили на вокзале и в довольно плохом автомобиле повезли в гостиницу "Континенталь". В противоположность уродливому Харькову, Киев очень красив. Я как-то не оценил его, когда приезжал концерттировать с Глиэром в 1916 году. Улицы, усаженные деревьями, отличные дома, но сколько разрушений! Недаром Киев столько раз переходил от белых к красным и обратно. До сих пор еще много покинутых домов, зияющих окнами с выбитыми рамами.

Днем давал интервью, а затем проводил время спокойно, дабы быть в форме вечером.

Концерт состоялся в оперном зале. За кулисами десятка три празднующихся, а распорядителей не доищешься. Зал красив и полон публики. Я играю ту же программу, что на первом концерте в Харькове.

Во время исполнения, в суфлерской будке, которая находилась у самых моих ног, вдруг зажигается свет. Потом свет потух, но появилась какая-то физиономия, которая со вниманием меня слушала. Потом физиономия исчезла, но опять зажегся свет. Это ужасно раздражало и я боролся с искушением ткнуть физиономию сапогом. В антракте я бегал в поисках кого-нибудь из распорядителей, но никто не знал, кто распоряжается, несмотря на то, что толклась масса народу, по-видимому из театральной труппы, которые разговаривали, рассматривали меня и просто ухаживали друг за другом, приятно проводя время.

Концерт прошел с большим успехом, как в Харькове. В артистической привязалась некая Гольденберг, преподавательница здешней консерватории, с необыкновенной настойчивостью упрашивая меня придти завтра послушать ее учеников, которые между прочим будут играть и мои сочинения. Но мне завтра хотелось отдохнуть от музыки и я не знал, как от нее отвязаться.

Когда мы вернулись в гостиницу, Пташка даже упрекала меня, что я был груб, но как же, в конце концов, мог я противодействовать подобной настойчивости?

12 марта, суббота.

Снег хлопьями, поэтому целый день сидели дома. Завтракали у нас супруги Малько. Он приехал сюда дирижировать концертом. На программе моя Классическая, но его концерт и мой совпадают. Как умно! За завтраком он по обыкновению говорил без умолку, очень искусно рассказывая всякие пустяки, так что потом невозможно передать, о чем собственно он говорил. Впрочем, его рассказ про Есенина и Айседору Дункан, с которыми он в России не раз встречался, были очень красочны. Малько описывал Айседору, как весьма любопытную женщину. Он цитировал одно из ее изречений:

— Лист всю жизнь стремился к небу, к Шуберту оно само спустилось.

Это в самом деле сказано блестяще.

После ухода супругов Малько, ко мне приводили молодого композитора Шиповича, 20 лет, простоватого еврея, очень флегматичного. Впрочем, его флегматичность уравновешивалась необычайной настойчивостью папаши. Шипович сыграл ряд своих сочинений, убивая меня двутактами и грубым построением мелодии, но в марше из его балета "Конек-Горбунок" мне показались неплохие моменты.

Ввиду того, что вчерашняя Гольденберг опять звонила к нам и даже прислала кого-то за мной, я решил наконец сдать экзамен и пойти на ее экзамен. В консерватории меня ждала неожиданность: экзамен оказался в самом деле интересным. Играла самая зеленая молодежь, от 10 до 16 лет, причем некоторые карапузы в четыре руки разыгрывали номера из Шута по клавиру. Три девочки выступили с докладом о форме моего гавота, которая была разрисована красками на плакатах (теория Яворского), но это оказалось слишком сложно для девичьих мозгов — или же присутствие автора смущало. Словом, одна из девочек запуталась и другая, более бойкая, ей помогала. В конце концов, одна из девиц обратилась ко мне с приветственной речью и мне таки пришлось самому сыграть три пьесы. Но это

было даже приятно. Дети окружили рояль и визжали от восторга.

Очень хорошо, что есть учреждения, где так обламывают молодежь. Если в революцию, после гибели части интеллигенции, концертная аудитория понесла урон, то при таком способе воспитания молодежи этот урон быстро пополнится.

Расстались мы с мадам Гольденберг друзьями, а ее экзамен оказался одним из ярких воспоминаний моей советской поездки.

13 марта, воскресенье.

Утром несколько просителей, которые здесь на юге, в Киеве и Харькове, приходят чаще к дверям приезжих знаменитостей, чем в Москве и Ленинграде. Мне всегда было жалко их, и я давал им то по червонцу, то по пять рублей, причем некоторые были чрезмерно благодарны, а другие уходили недовольные. Но Пташка возмущалась, говоря, что приличный человек не придет просить у двери, а придет или нахал, или профессионал. У одного я спросил удостоверение в том, кто он такой. Тот охотно вынул бумажку о том, что два года тому назад он честно служил в ГПУ. Я сказал:

— Ну вот и обращайтесь туда за помощью, а я помогаю лишь товарищам по искусству.

Однако, вероятно на других проезжих, особенно из непокровительствуемого класса нэпманов, эта бумажка производила впечатление, и они спешили дать, чтобы отвязаться от маложелательного просителя.

Днем второй концерт в Киеве, на этот раз не в опере, а в другом зале, меньшего размера. Одновременно с этим — симфонический концерт под управлением Малько, в котором вдобавок исполнялась моя классическая симфония. Очень глупо: то ни гроша, то вдруг концерты в двух залах. В результате мой концерт запаздывает ни более ни менее как на час с четвертью. Говорили, что у Малько так мало публики, что концерт его вероятно вовсе не состоится, а потому задерживали начало моего, чтобы публика оттуда успела перейти сюда. Тем временем происходила трагедия вчерашних учеников, которым я роздал карточки с просьбой пропустить на мой концерт, и которых не пус-

кали. Один из них прорвался и сообщил мне об этом. Я настоял тогда перед кем-то из заведующих, чтобы их пропустили. Мне пообещали, но через некоторое время пришел еще кто-то и сообщил, что их все-таки не пускают. Словом, наконец они попали и концерт начался.

Кроме пятой сонаты, у всех вещей программы колоссальный успех. Особенно усердствовали ученики, бросавшиеся на эстраду, благо подмостки не высоки, — так что я еле мог пробраться, чтобы уйти с нее. В общем, шум был чрезвычайный. А после концерта мы поспешили домой, чтобы собрать вещи и ехать в Одессу.

Перед самым отъездом в гостиницу явились ученицы Гольденберг и принесли мне анализ моего марша из Трех Апельсинов, в разрисованной обложке. Анализ был сделан по системе Яворского, с указанием ладов, так что я в общем ничего не понял в нем.

В поезде нам было задержано купе вагона Международного Общества, в котором кроме нас почти никто не ехал.

14 марта, понедельник.

Утром — Одесса. На платформе встречает с десяток неизвестных мне людей — представители Филармонии и Акоперы. Вообще мне неясно, от кого из двух я выступаю, и лишь впоследствии я выяснил, что раз я был ангажирован Тутельманом, то значит от Акоперы. Но т.к. меня непременно хотела иметь Филармония, то Акопера меня ей перепродала, по утверждению членов дирекции Филармонии, за двойную цену против уплаченной мне. Впрочем, Украинская Акопера платила мне в долларах, а филармонийцы перекупали меня за рубли.

Комнаты нам были отведены в отеле "Бристоль", ныне — Красная Гостиница, но по старой памяти называемая "Бристолем". Жаль, что не на берегу моря. У нас две огромнейшие комнаты, но отделенные от коридора тонкими дверьми, так что слышен шум со всей гостиницы. К тому же телефон как раз против нашей двери. От этого шума не удастся отдохнуть ни минуты.

Гуляем по Одессе. Для Пташки приезд в Одессу более значителен, чем для меня: я в Одессе в первый раз, она же жила

там в раннем детстве, у дедушки, действительного статского советника и председателя суда. Здание театра она узнала сразу.

Мы вышли к морю. Порт совершенно пуст и само море серое: весна еще не началась.

Вечером концерт в оперном театре. Зал полон, и кроме того рядов пятнадцать на эстраде, что всегда придает некоторую парадность. Я с интересом рассматриваю театр, красотой которого так гордятся одесситы. Мою программу публика принимала сначала сдержанно, но затем мало-помалу разошлась, хотя и не в той мере, как вчера в Киеве. В артистическую заходит Павлуша Себряков, который после концерта отправляется с нами в гостиницу.

15 марта, вторник.

Об этом дне записи не сохранилось. Вечером второй концерт: в том же зале, при такой же обстановке и приблизительно с тем же успехом; что и накануне.

После концерта был ужин, после которого здешний тенор превосходно спел Гадкого Утенка. Лишь аккомпаниаторша портила дело. Но его исполнение было настолько хорошо и свободно, что мне самому захотелось проаккомпанировать ему — и мы исполнили еще несколько моих романсов.

16 марта, среда.

Утром зашла к нам сестра Горчакова¹. Революция и движение большевиков на юг разъединила ее с семьей. В свое время она пыталась перебраться в Румынию — вплавь через реку, но это кончилось неудачно. Теперь она учится в какой-то медицинской школе, живет впроголодь и вообще выглядит человеком дичащимся и недоверчивым, так что потребовалось немало ласковых слов, чтобы услышать от нее человеческое слово. Выяснилось, что больше всего она боится, как бы ее, по окончании образования, не услали куда-нибудь в деревню. Поэтому я обещал похлопотать за нее перед докторами, входящими в состав дирекции Филармонии.

Как раз скоро подъехал один из них, доктор Гольдман,

для того, чтобы поехать с нами на автомобиле в Аркадию — местечко у берега моря в нескольких километрах от Одессы.

До сих пор мы видели мало разрушения в Одессе по сравнению с Киевом, лишь сильно пострадали деревья, которыми были обсажены улицы: большинство из них было вырублено на дрова. Но теперь, по дороге в Аркадию, нам как раз пришлось ехать по бульвару (кажется, Французскому), по которому в свое время с боем наступали большевики, и вдоль которого с обеих сторон жарила артиллерия. Здесь огромное множество домов и вилл, в свое время парадных, было разрушено. Др Гольдман указывал на некоторые из загородных домов, ныне обращенные в дома отдыха для рабочих, но это было каплей в море по сравнению с общим разрушением.

В Аркадии чрезвычайно милый берег, защищенный от ветра пригорками и пригреваемый с юга солнцем. Здесь мы попали в иной климат, а Др Гольдман тем временем преинтересно рассказывал о своем прошлогоднем путешествии по Закавказью и Закаспийскому краю. Про Бухару и Хиву, с которой сообщение аэропланом. Это было тем более интересно, что живя в Париже совершенно не знаешь, в каком состоянии эти полудикие окраины России. А между тем оказывается, что советские граждане отправляются туда для отдыха и развлечения.

Возвратившись в Одессу и расставшись с Гольдманом, мы отправились завтракать в Лондонскую Гостиницу, с окнами, дающими на море. Там к нам подсел Пресняков, бывший профессор пластики в Консерватории, которого там в свое время не особенно любили, но которым интересовались, т.к. к его классу естественно стремились наиболее красивые из учениц. Теперь вид у него был скорее просительный — главным образом на предмет того, как бы ему выбиться за границу, ибо жизнь в России ему осточертела.

Затем мы вернулись домой, за нами заехал Столяров² и повез в Консерваторию, директором которой он теперь состоит. Я обещал поиграть сегодня для учеников, которых собралось огромное множество, казавшееся особенно многочисленным благодаря сравнительно тесным размерам Консерватории.

Столярова я помню еще учеником Петербургской Консерватории по классу скрипки, затем он стал дирижером, а теперь попал в директора, но вид у него не солидный и не директорский, что я ему со смехом и доказывал:

— Неужели вас все-таки слушаются? Вы бы хоть отпустили себе бороду!

Играл я не очень много, но в набитом зале стоял страшный рев: южный темперамент одесситов постоял за себя. Когда же мы со Столяровым вышли на улицу и уселись в открытый автомобиль, для того чтобы быть отвезенными в гостиницу, то вся Консерватория, несколько сот человек, высыпала на улицу и провожала меня громкими криками; я же, отъезжая, раскланивался с ними. Словом, произошло целое народное волнение, очень симпатичное.

Вернувшись домой, мы собрали вещи и отправились на вокзал. Перед самым отъездом произошел забавный инцидент. Оказывается, какой-то тип уже второй день внизу ресторана ел, пил и заказывал дорогие блюда, говоря, что он приехал с Прокофьевым чуть ли не в качестве его секретаря. Параллельно с этим он красно рассказывал про за границу и про разные случаи из жизни Прокофьева, а хозяин и прислуга слушали и записывали съеденное и выпитое на мой счет. Когда в момент моего отъезда выяснилось, что означенный тип никакого ко мне отношения не имеет, в отеле поднялась тревога. Метр д'отель кричал:

— Подождите, я его найду! он от меня не уйдет!

Впрочем нам препятствий не чинили и отпустили нас с поклонами. На вокзале нас провожали приблизительно те же, кто и встречали, главным образом доктора, потому что ОФО (одесское филармоническое общество) почему-то держится главным образом докторами. Была и Горчакова с букетом фиалок, которую я и рекомендовал заботам Дра Сигаля, одного из влиятельных членов медицинской организации, который разумеется все готов был для меня сделать, и, как впоследствии выяснилось, не сделавший для нее ровнешенько ничего.

Вагон нам был прямого сообщения до Москвы, но не Международного О-ва. Впрочем у нас было удобное полу-купе.

17 марта, четверг.

В 11 ч. дня Киев, где наш вагон перецепляется к московскому поезду, а потому 1 ч. 45 м. остановки, чем мы и воспользовались, чтобы поехать по городу. Наняли извозчика и пое-

хали к памятнику Владимира. Владимир стоит на своей горе с крестом в руках — революции и междуусобицы не посмели тронуть его. Теплый, солнечный день, тающий снег и ручейки, журчащие по склонам горы. Далеко вдоль виден вьющийся Днепр, но вид его зимний, неприветливый.

Довольно скверно позавтракав на вокзале, вернулись в вагон, где в соседнем купе оказался Сеговия¹, концертировавший в Киеве и тоже возвращавшийся в Москву. Сеговия очень милый молодой испанец в роговых очках. Говорят, он замечательный гитарист, хотя я его и не слышал. Его сопровождал представитель Росфила Кулишер, мрачного вида еврей. Сеговия чрезвычайно обрадовался нам и все время трещал с Пташкой по-испански, жалуясь на то, что от Кулишера нельзя добиться ни слова: он только сидит и курит не переставая, отравляя дымом все купе. На большой станции мы вместе с Сеговией выбегали в буфет и покупали цыпленка. Затем, предоставив ему беседовать с Пташкой, я лег спать, т.к. у меня болела голова.

18 марта, пятница.

В 11 ч. 40 м. дня приехали в Москву. Встретил Цуккер и повез в Метрополь, где мы попали в тот же номер. Сразу же Цуккер повез нас осматривать Кремль. Прошли через оружейную палату, где мы присоединились к группе осматривающих, которым давал объяснение гид. Я обратил внимание Пташки на шапку Мономаха, действительно чрезвычайно нарядную. Затем мы попали в ведение некоего Н.Н. Померанцева, заведующего реставрацией живописи в кремлевских соборах. Это был очень интересный человек, фанатик своего дела, культурный и тонкий, работавший за грошовое жалование при весьма неблагоприятных условиях. Он с увлечением показывал мне Рублевскую живопись, освобожденную из-под слоев краски, намазанной сверху во время ремонтов соборов "в период некультурного царизма".

Меня смущало, что в церковь входят в шляпе, и я решил ее снять. Видя мое движение, Померанцев сказал мне:

— Эти церкви мы рассматриваем как музеи. Здесь службы больше не идут. Работать здесь без шляпы невозможно: посмотрите, как холодно.

Действительно, мороз был градусов в пятнадцать. На этом же музейном основании Пташку ввели в алтарь, чтобы показать ей Рублевские иконы.

Осмотр был очень интересен, но длился без конца. Хотелось есть, было холодно и ноги превратились в колодки с негнущими пальцами. В конце концов я запротестовал, и в 4 часа, умирая с голоду, мы с Цуккером попали в Большую Московскую Гостиницу, где нам подали есть в отдельном кабинете.

Вечером были в театре Мейерхольда на "Лесе" Островского, очень интересном и тщательно разработанном спектакле, как все у Мейерхольда. Недостаток — медлительность, а медлительность — от желания насытить спектакль всяческими режиссерскими деталями. Казалось бы, что это — от богатства изобретательности, но эта изобретательность не безгранична, т.к. немало повторяется из других Мейерхольдовских постановок.

19 марта, суббота.

Репетиция Персимфанса к моему последнему концерту, хотя в программе ничего нет нового. Завтракал без Пташки, затем заходил к тете Кате.

Вечером были в оперной студии Художественного Театра на "Евгении Онегине", которого я прослушал с чрезвычайным удовольствием. Крестьянская сцена из первого акта была выпущена, как оскорбляющая рабоче-крестьянское правительство. Очень хорошо был поставлен бал у Лариных, чему немало способствовали скромные размеры сцены этого театра. Т.е. это не был роскошный бал в огромном зале, как это делалось в больших театрах, так что в толпе не найдешь ни Ленского, ни Онегина, а наоборот — бал в средней руки помещичьем доме, со столовой и большим обеденным столом с накрытым на нем чаем на первом плане. Танцевать выходили в зал, находящийся в глубине сцены, вся же ссора Ленского с Онегиным происходила у чайного стола, и от этого вышла очень рельефной. Малые размеры сцены заставили во время дуэли оставить на сцене одного Ленского, в то время как Онегин был за пределами ее. Благодаря этому вся дуэль проведена, если так можно выразиться, с точки зрения Ленского. Бал из последнего акта был

выдержан в необычайно тонном стиле, как бы подчеркивая застылость этикета большого света. Мне было очень любопытно смотреть на то, как советские артисты, в этом театре почти исключительно молодежь, не выдавшая дореволюционной России, изображали придворный лоск николаевских времен. Некоторые из фрейлин были ярко выраженного еврейского типа.

Еврейского типа был и брат Луначарского, с которым нас познакомили в закулисной гостиной, куда мы были приглашены в антракте выпить чашку чая.

20 марта, воскресенье.

Утром заходила к нам Шура Сержинская, моя троюродная племянница, столь мало понравившаяся Пташке на первый взгляд. Но сегодня она предстала в лучшем свете. У нее сын комсомолец. Как бы отвечая на наше удивление, она сказала:

— Ну, что ж, когда раньше в гимназиях пичкали катехизисом, то это не значит, что дети становились от этого религиозными. Так и теперь: когда их пичкают безбожием, то это не значит, что они становятся антирелигиозными. Политграмма в тепершней школе — такая же скучная зубрежка, как катехизис в царских гимназиях. Зато, будучи комсомольцем, мой сын имеет шансы на лучшую жизненную дорогу.

Днем мой последний московский концерт — с Персимфансом, в Колонном Зале. Зал полон и настроение парадное. В программе классическая симфония, которую Персимфанс играет чище Сараджева, но кое-где пошатываясь в ритме; затем второй концерт и в заключение Скифская сюита. Зная, что это мой последний концерт, публика самым триумфальным ревом попрощалась со мной.

На концерте был Рыков¹, глава правительства. Он прослушал только пол программы. Когда он уходил через артистическую, Цуккер познакомил нас. Рыков — небольшого роста человек, с бородкой интеллигентского типа и гнилыми зубами. Он спросил меня:

— Как же вам у нас понравилось?

Я ответил:

— Мой приезд сюда — одно из самых сильных впечатлений моей жизни.

В сущности, я совсем не похвалил Большевизию, и в то же время выглядело, что я высказался в предельных похвальных выражениях. Словом, Рыков улыбнулся и с довольных видом заспешил дальше.

Среди публики выделялась красная феска Мейерхольда:

— Видите ли, сказал он, к весне я становлюсь немного нервным и потому всегда гладко остригаю волосы. А т.к. все-таки довольно холодно, то приходится носить феску.

В артистической масса народу: мадам Литвинова с детьми, Мясковский, Асафьев, Беляев, Яворский, Протопопов (последний поднес Пташке цветы, но его сейчас же увел Яворский, чтобы он не забалтывался с дамами), Сараджев, Оборин, похожий на Дукельского, и др. Появился Блюменфельд², который умирал от паралича уже лет пятнадцать тому назад. Теперь он хромотает, не очень гибко двигает языком во время разговора, но по-прежнему эффектен, и заблестел глазами, когда я его представил Пташке. Сараджеву я подчеркнул, что премьеры классической симфонии была все-таки с ним, и подарил ему галстук, бывший на мне во время премьеры. Познакомил Надю Раевскую с Мейерхольдом³, поручая Шурика его заботам в деле освобождения из тюрьмы.

После концерта зашли в гостиницу, а потом с Це-це отправились на Пречистенку обедать. Было холодно и я устал от концерта. На площади стояло несколько таксомоторов, но ни один из них не желал везти по таксе. Цуккер, лейбгвардии коммунист, очень волновался, сердился, и наконец нанял какой-то из автомобилей. Когда мы подъехали к ресторану и я хотел платить, он закричал:

— Нет, нет, сегодня я плачу. Идите вперед, не ждите меня.

Кажется ему пришлось нанять его не по таксе и заплатить втридорога, но он не хотел признаться в том.

Вечером мы обещали с Пташкой пойти в театр на Турандота⁴, но я устал от толпы и зрелища, и, отправив туда Пташку с Надей, пошел к Мясковскому, куда пришел и Асафьев (он вновь на короткий срок приехал в Москву). Было так приятно спокойно посидеть у Мясковского и поговорить без напряжения. Кстати я забрал у Мясковского два толстых пакета со старыми дневниками, которые решил увезти за границу. Асафьеву, по его просьбе, передал объемистую переплетенную тетрадь с фортепьянными пьесами юношеского периода. Затем

мы втроем отправились по тихим переулкам к Держановскому, у которого всегда собираются по воскресеньям вечером.

Среди других у Держановского был австрийский пианист Вюрер⁵, который на днях должен был дать в Москве несколько концертов, играя между прочим целую серию современных русских сонат. На очень скверном держановском рояле он весьма неплохо демонстрировал четвертую сонату Мясковского, которую впрочем играл по нотам.

Вернулся я домой не очень поздно, таща по гололедице мои тяжелые пакеты пустынными улицами, т.к. извозчиков, как на зло, не было. Пташка вернулась очень довольная Турандотом. На спектакле был Буденный и на него все оглядывались.

21 марта, понедельник.

С окончанием концертов наступило предотъездное настроение. За нашими заграничными паспортами съездил кто-то из Персимфанса. Они уже некоторое время как были готовы — недаром я подал прошение о них чуть ли не на другой день по приезде в СССР. Сегодня я получил германскую визу и через весь город, куда-то к чорту на кулички, поехал в польское консульство — за транзитной. Цуккер утверждал, что через Польшу никоим образом не следовало ехать, что Польша — враждебная держава, что надо ехать через Ригу, и что вообще польской визы мне не дадут, — но путь через Польшу был на полсутки короче, и потому я не внял его мелодекламации. В польском консульстве были очень приличны, взяли паспорта и просили заехать за ними завтра.

Между тем Пташка была с Цуккером в Госторге, где он благодаря каким-то протекциям обещал достать из государственных холодильников хороший беличий мех со скидкой в 10 процентов. Лучшие меха предназначаются для вывоза за границу, а худшие продаются для своих, поэтому его протекция в том и состояла, чтобы получить из заграничного отделения.

Т.к. революционные китайцы взяли Шанхай, то Цуккер был вне себя от радости, и даже громко кричал об этом на улице, смущая тем Пташку.

Завтракали мы вдовем с Пташкой, затем пошли в Госторг покупать выбранную белку.

Днем приходил Асафьев, который был не в духе: его с одной стороны будто командировали в Вену, но давали так мало денег на командировку, что нельзя было повернуться. Он сначала не хотел ехать, потом захотел, соглашался даже приложить своих денег, но оказалось, что какие-то затруднения с паспортами — словом ерунда.

В половине седьмого вечера за нами заехали из Художественного Театра, т.к. я обещал им поиграть. Приглашали меня накануне и даже спрашивали, сколько я за это возьму, но я ответил, что сочту за удовольствие сыграть для Художественного Театра без всякой платы. Встречали нас очень ласково: Станиславский, Книппер-Чехова, Лужский. Особенно хорош был Станиславский. Узнав, что Пташка певица и в восторге от его оперной студии, он стал приглашать ее:

— Ну вот и отлично, переезжайте в Москву и поступайте к нам.

После игры и аплодисментов мне поднесли чудесный букет из белой сирени, в объятиях с которым мы поехали к тете Кате, а затем, оставив там часть букета, к Держановским, где собрались Асафьев, Мясковский, Сараджев.

Когда, уезжая от Держановских, я захотел взять хоть часть моих цветов, Леля довольно сердито закричала:

— Вот жадина, я знаю, он по 1000 рублей за концерт получает, а нам не может оставить даже своих цветов.

22 марта, вторник.

Предотъездная беготня продолжалась. Опять через весь город носился в польское консульство, где визу выдали беспрепятственно. На обратном пути купили билеты. Едва вернулся домой, как зазвонил по телефону Цуккер. Я несколько грубовато подразнил его насчет того, как просто и любезно мне выдали визу на Польшу — а он ведь городил из этого такое событие! Цуккер самолюбив, и обиделся. Ну и пусть: меня такие гвардейцы от революции раздражают, а за то, что он тянул и вилял в вопросе облегчения участи Шурика, у меня имелся против него зуб¹.

Днем укладывались, заходил Асафьев попрощаться, и

прямо от нас уехал на Николаевский вокзал для следования в Ленинград, причем я всучил ему мое пальто (у меня их было два). Затем пришла Леля помогать Пташке сшивать белку — дабы она выглядела меховой накидкой, а не просто кусками меха. Засиделась у нас Леля до девяти часов. Курили массу русских папирос, которые мне очень нравились после заграничных, хотя русские знатоки и ругают теперешний табак. У меня в кармане была записная книжка времени моего итальянского путешествия 1915 года, которую я достал у Мясковского в чемодане. Я со смехом читал из нее некоторые отрывки из моих столкновений с Дягилевым во время получения заказа на Шута².

Зазвонил телефонный звонок — из Коминтерна. Собственно говоря я так и не понял от кого это, но звонившее мне лицо назвалось каким-то длинным титулом, в который входил и Коминтерн. А раз Коминтерн, то надо было быть осторожным.

Дело касалось того, чтобы я выступил сегодня вечером в концерте, спешно организуемом в честь взятия Шанхая. Выступать мне смертельно не хотелось, но отказываться надо было осторожно. Я сразу же решил перейти в контратаку, и ответил:

— Но позвольте, я желал бы знать, кто у вас организует этот вечер? Разве можно приглашать артиста чуть ли не за несколько минут до концерта? Что же это будет за вечер? Я совершенно не могу по такому важному случаю играть с бухты-барухты и как попало. Нет, уж извольте, и передайте вашим организаторам, чтобы они на следующий раз организовывали вечер на более серьезных началах — и тогда я буду к вашим услугам.

Последнее было довольно безопасно, т.к. завтра мы уезжаем в Париж.

В десятом часу вечера пошли с Пташкой обедать в гостиницу "Европа". До сих пор мы там только завтракали, а вечером оказалась открытая сцена с номерами, малоинтересными, так что мы сели подальше от сцены. Туда же к концу нашего обеда подошел Цейтлин, чтобы произвести со мной расчет за все мои выступления в Персимфансе. Этот расчет оказался некоторым разочарованием, т.к. за границу они перевели мне гораздо меньше денег, чем я рассчитывал. Но я у них немало переребрал в червонцах на прожитие, затем гостиница, проезды, — все это утекало незаметно.

23 марта, среда.

День нашего отъезда, и как раз день приезда Боровского из-за границы, чтобы начать свое турне. Боровский¹ остановился в Метрополе же, в нашем же коридоре. Когда я пришел к нему, Цуккер составлял с ним программу первого клавирабенда, в которую входили и мои сочинения. Со мною Цуккер был сух. Это за вчерашнее. Дурак². Боровский имел несколько оторопелый вид. Приезд в Россию производил на него сильное впечатление, и он видимо волновался, не зная, ждет ли его здесь успех; и вообще: вдруг большевики ни с того ни с сего его арестуют? Хотя казалось бы с чего? — Боровский успел уже сделаться латышским гражданином.

Заехал Цейтлин и мы с ним отправились в главное таможенное управление. Дело в том, что никакие рукописи нельзя вывезти из России, не имея на то специального разрешения. Это по существу очень хорошее правило, предохраняющее русские библиотеки от расхищения. У меня же были мои старые дневники, куча писем, полученных во время пребывания в СССР, нотные рукописи, клавишник Игрока со штампом "собственность императорских театров" и пр. Я уже давно поднимал этот вопрос перед Цуккером и Цейтлиным, но в добром русском стиле они дотянули до последней минуты.

В главном таможенном управлении нас приняли очень любезно и послали на вокзал, где по приказу из таможенного управления должны были запечатать мои рукописи, тяжеленные пакеты, которые мы еле тащили с Цейтлиным.

На вокзале, в таможенном отделении, появилась какая-то официальная дама, которая двумя пальцами порылась в портфеле с письмами, и затем приказала все это запечатать. Словом, дело кончилось вполне благополучно. Хуже было бы, если бы она начала читать дневники. Я как раз вспомнил, что там кое-где есть выражения, которые можно счесть контрреволюционными.

Когда дело было закончено, и мы с Цейтлиным и с запечатанными тюками поехали обратно, он с увлечением рассказывал про историю Персимфанса и про то, что некоторые коммунисты говорили ему, что в сущности это единственное истинно-коммунистическое учреждение во всем СССР. Сам Цейтлин болен, жена тоже больна, в правлении Персимфанса пере-

выборы и неразбериха, но энергии в Цейтлине тьма. По случаю искривления позвоночника доктора надели на него гипсовый корсет, но Цейтлин, прохотив в нем два дня, сбросил его и продолжал свою деятельность без корсета.

В мое отсутствие, оказывается, к Пташке ввалилась мать Кошиц³, и упростила ее взять для Кошиц браслет и брошку. Пташка ничего мне об этом не сказала, и оказывается затем все время дрожала, пока мы не переехали границу.

Завтракали с Боровским в ресторане на Пречистенском бульваре. Воровский с наслаждением вкушал русские блюда. Затем заехали проститься к тете Кате и поспешили домой заканчивать укладку. Пташка еще успела купить себе парчевый халат и брошку.

Дома последняя сутолока. Пришли Катя и Надя, но обе больше мешали, чем помогали. Катя, например, во что бы то ни стало пыталась уложить нам те вещи, которые мы ей же оставляли в подарок. Как на зло, тут же ввалились люди, чтобы забирать пианино. Словом, мы еле выкатились, и, сопровождаемые Цейтлиным, поехали на вокзал. Цуккер не выдержал до конца и отсутствовал. Цейтлина я отдал оставшиеся у меня червонцы, с просьбой, если удастся, перевести их за границу.

Поезд отходил в 5 часов дня с минутами. На вокзале, кроме Кати и Нади, нагруженных полученными подарками, Мясковский, трое Держановских, Цейтлин и певица Держинская. Поезд, с которым мы уезжали, в противоположность тому, с которым мы приехали, имеет нарядный вид. Несколько вагонов Международного Общества, вагон-ресторан, словом, все, что полагается для международных поездов. Провожавшие глядели на нас не без зависти: еще бы, через 2-3 дня в Париже. Мясковский привез несколько коробок сластей, а я ему сегодня утром преподнес всякие галстуки, рубашечки и прочие более элегантные части туалета, зная его склонность к ним.

Поезд тронулся. Был чудный, ясный мартовский день, с косыми лучами заходящего солнца.

24 марта, четверг.

Утром сначала русская, потом польская граница, прошедшие без приключений. После того, как мои запечатанные паке-

ты прошли через таможеню, их можно было распечатать и сложить в сундук. Таможенный чиновник знал, кто я, и похлопав рукой по сундуку, пошутил:

— Чем наполнен сундук? Апельсинами?

Затем он объяснил, что во время отпуска ездил в Ленинград и хотел попасть на Любовь к трем апельсинам, но почему-то это не удалось.

На польской границе мы пересели в международный вагон прямого сообщения на Париж, новенький как с иголки. Можно подумать, что заграничные люди нарочно щеголяют им перед некоторой потасканностью русских вагонов.

Вечером Варшава и довольно длинная остановка, во время которой мы успели пообедать с мадам Гросман. Варшава здорово подтянулась за последние годы, и из довольно провинциального города начинает делаться похожей на европейскую столицу.

25 марта, пятница.

Утром Берлин, где хочешь — не хочешь надо было остановиться, для того чтобы взять бельгийскую транзитную визу (в России бельгийского консульства нет). Опять Вебер, Таня Раевская и Саша, который впрочем ничем особенным не блеснул.

В отеле Fürstenhof мы столкнулись с Сашей Черепниным и его женой. Вид этой пары, молодого мальчишки и старой богатой дамы, меня сразу же привел в ярость. Сашенька Черепнин концертировал в нескольких городах, играя между прочим мою балладу с виолончелью, о чем он и поспешил сообщить мне. Я сказал:

— Ну, вероятно играли ее так же плохо, как в Париже.

Сашенька оторопел. Между тем я стал торопить Пташку кончать ее разговор с "Луизитой", говоря, что мы торопимся обедать и нам некогда разговаривать. Словом, мы быстро растались, причем Пташка была возмущена моим поведением, я же ответил, что не могу их видеть вместе. Пообедав с Таней, Сашей и Вебером в каком-то большом, но, как оказалось, подозрительном кафе, мы вечером выехали в Париж, разорившись на Норд-Экспресс.

ПРИМЕЧАНИЯ

13 января 1927

- 1) Пианист и композитор Николай Георгиевич Горчаков был тогда секретарем Прокофьева.
- 2) Александр Борисович Боровский (1889-1968), известный пианист и друг Прокофьева. Учился вместе с ним у Есиповой. Часто играл в концертах музыку Прокофьева.
- 3) Гавриил Григорьевич Пайчадзе (1879-1976) был директором музыкального издательства Кусевичского в Париже.
- 4) Так звал Прокофьев свою жену, Лину Ивановну Прокофьеву (1897-1989).

14 января

- 1) Друзья Прокофьевых.
- 2) Музыкальное Издательство Гутхейль.
- 3) Знакомый Прокофьева, недавно переехавший из США в Москву.

16 января

- 1) Город в баварских Альпах, где Прокофьев жил в 1922-23 г.г.
- 2) Композитор Николай Яковлевич Мясковский (1881-1950) был ближайшим другом Прокофьева.
- 3) Владимир Владимирович Держановский (1881-1942), критик и издатель, многие годы поддерживавший Прокофьева и пропагандировавший его музыку.

17 января

- 1) Так для краткости Прокофьев называл свою оперу "Любовь к Трем Апельсинам."

18 января

- 1) Латышский композитор, учившийся в Петербургской консерватории.
- 2) Анна Григорьевна Жеребцова-Андреева (1868-1944), певица, первая исполнительница "Гадкого Утенка" в 1915 г.

19 января

- 1) Минус 15 по Цельсию.
- 2) Борис Владимирович Асафьев (1884-1949), известный музыковед и

композитор, друг Прокофьева, которому он посвятил свою Классическую Симфонию.

3) Старший сын Прокофьева, родившийся в 1924 г.

20 января

1) Лев Моисеевич Цейтлин (1881-1952), скрипач, организатор Персимфанса (Первого Симфонического Ансамбля), оркестра без дирижера, существовавшего в 1922-1932 г.г.

2) Был тогда зам. Наркомом Иностранных Дел СССР.

3) Временный паспорт, выдававшийся в то время на Западе для иностранцев.

4) Константин Соломонович Сараджев (1877-1954), дирижер, друг Прокофьева.

21 января

1) Н. Райский (1875-1958) был также тенором и педагогом.

2) Самуил Евгеньевич Фейнберг (1890-1962), известный пианист и композитор. Первый исполнитель Третьего Фортепьянного концерта в России.

22 января

1) Был наркомом просвещения в 1917-29 г.г.

2) До революции был крупным музыкальным издателем.

3) Петр Петрович Сувчинский (1892-1985), музыковед, близкий друг Прокофьева. Ему была посвящена Пятая соната.

4) Александр Черепнин (1899-1978), композитор и пианист. Сын Н. Черспина.

5) Опера Н. Римского-Корсакова.

6) Советский поэт.

7) Николай Семенович Голованов (1891-1958), известный дирижер.

8) Учился вместе с Прокофьевым в петербургской консерватории.

23 января

1) Рейнгольд Морицевич Глиер (1874-1956) был первым учителем музыки юного Прокофьева.

2) Владимир Дукельский (1903-1969), в США более известный как Вернон Дюк, композитор и друг Прокофьева.

3) Константин Николаевич Игумнов (1873-1948), выдающийся пианист, в то время директор Московской консерватории.

4) Александр Александрович Раевский (1887-1942), двоюродный брат Прокофьева, потомок героя войны 1812 года. Был арестован как бывший ученик Санкт-Петербургского лицея. Надя – Надежда Богданова Раевская (урожд. Мейендорф), его жена (1885-1950).

5) Антонина Васильевна Нежданова (1873-1950), ведущая колоратура Большого Театра, жена Н.С. Голованова.

6) Анатолий Николаевич Александров (1888-1982), композитор.

7) Молодые московские композиторы.

24 января

- 1) Мирон Полякин (1895-1941), известный скрипач.
- 2) Скрипичный класс Леопольда Ауэра в Петербургской консерватории пользовался мировой репутацией. Среди его учеников были знаменитые Я. Хейфец и М. Эльман.
- 3) Цецилия Ганзен (1897-1989), шведская скрипачка, была замужем за пианистом Борисом Захаровым, соучеником и другом Прокофьева по петербургской консерватории.
- 4) Троюродный брат Прокофьева, научивший его играть в шахматы.
- 5) Василий Митрофанович Моролев (1880-1949), старый друг Прокофьева и постоянный шахматный противник его в молодые годы, по профессии ветеринар.
- 6) Айви Вальтеровна Литвинова (1889-1977), жена Литвинова.
- 7) Александр Борисович Гольденвейзер (1875-1961), пианист и профессор консерватории.
- 8) Алексей Денисович Дикий (1889-1955), известный актер и режиссер.
- 9) Исаак Моисеевич Рабинович (1894-1961), известный театральный художник.
- 10) Так был прозван Прокофьевым готовившийся у Дягилева его балет "Стальной Скок", как бы иронически, в противоположность опере Стравинского "Соловей" ("Россиньоль").
- 11) Георгий Богданович Якулов (1884-1928), художник и театральный декоратор, оформлявший балет Прокофьева "Стальной Скок".

25 января

- 1) А.И. Ямпольский и К.Г. Мострас были известными скрипачами того времени.

26 января

- 1) Болеслав Леопольдович Яворский (1877-1942), музыкальный теоретик, разработавший свою собственную теорию ладов. В 1920-1930 г.г. был председателем музыкальной секции и членом Ученого Совета Наркомпроса.
- 2) Друзья родителей Прокофьева (Смецкая была школьной подругой матери Прокофьева). Им принадлежало обширное имение в Сухуми, позднее ставшее Ботаническим садом.
- 3) Б.Б. Красин, член дирекции Российской филармонии, официально приглашавший Прокофьева приехать в Советский Союз в 1925 году.
- 4) Виктор Михайлович Беляев (1888-1956), музыковед.

27 января

- 1) В "Увертюре" не использованы скрипки.
- 2) Иверские Ворота (1680) были снесены вместе с орлами в начале 1930-х г.г.

30 января

- 1) С. Протопопов (1893-1954), композитор, ученик Яворского.
- 2) Ксения Георгиевна Держинская (1889-1951), солистка Большого театра.

31 января

- 1) Лев Николаевич Оборин (1907-1974), выдающийся пианист.

1 февраля

- 1) Николай Николаевич Черепнин (1873-1945), композитор и дирижер. Прокофьев был его учеником по дирижерскому классу в Петербургской консерватории и посвятил ему свой Первый фортепианный концерт, а также Симфоньетту.
- 2) Опера Н. Римского-Корсакова.

2 февраля

- 1) Павел Александрович Ламм (1882-1951), музыковед и пианист, позднее ставший музыкальным секретарем Прокофьева.

4 февраля

- 1) Сохранилась короткая кинохроника с играющим Прокофьевым и с оркестрантами Персимфанса.

5 февраля

- 1) О.А. Каменева была арестована в середине 30-х г.г. и позднее расстреляна.
- 2) Демьян Бедный (1883-1942), сатирический и пропагандистский советский поэт.
- 3) Карахан был арестован и расстрелян в 1937 году.
- 4) Фортепиано со специальным приспособлением, воспроизводящим музыкальную запись на перфорированных бумажных роликах. В 1904-1929 г.г. успешно конкурировало с грамофонными пластинками.

8 февраля

- 1) "Поэма Экстаза" – произведение А.Н. Скрябина.
- 2) Иван Васильевич Экскузович (1883-1942), театральный деятель, был в те годы управляющим академическими театрами Ленинграда и Москвы.

9 февраля

- 1) Александр Васильевич Оссовский (1871-1957), музыковед, критик, ученик и друг Римского-Корсакова. Помог молодому Прокофьеву напечатать его первое произведение.
- 2) Владимир Владимирович Щербачев (1889-1952), композитор и профессор Ленинградской консерватории.
- 3) Владимир Михайлович Дешевов (1889-1955), композитор, соученик Прокофьева в Петербургской консерватории.
- 4) Памятник Александру III работы П. Трубецкого, был убран в начале 30-х г.г.
- 5) Николай Андреевич Малько (1883-1961), известный дирижер, эмигрировавший на Запад в 1928 году.
- 6) Владимир Александрович Дранишников (1893-1939), дирижер, соученик Прокофьева, аккомпанировавший ему при экзаминационном исполнении Первого фортепианного концерта, принесшего Прокофьеву

премию Рубинштейна. С 1936 года стал главным дирижером Киевской Оперы. Он умер в то время, как дирижировал.

7) Борис Степанович Захаров (1887-1942), пианист, соученик и друг Прокофьева.

8) Иван Васильевич Ершов (1867-1943), выдающийся тенор.

9) Леонид Владимирович Николаев (1878-1942), пианист и профессор консерватории.

10) Ю.М.Юрьев (1872-1948), известный актер Александринского театра.

10 февраля

1) Катя Шмидтгоф была сестрой близкого друга Прокофьева по консерватории, Максимилиана Шмидтгофа, в 1913 г. покончившего собой. Прокофьев посвятил ему ряд произведений, в том числе Второй фортепианный концерт, Вторую и Четвертую фортепианные сонаты.

2) Глазунов эмигрировал во Францию в 1928 году.

3) Александр Ильич Зилоти (1863-1945), пианист и дирижер, в течение многих лет был организатором серий концертов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых Прокофьев дирижировал своими новыми произведениями: в 1915 г. Симфонией и в 1916 г. Скифской Сюитой.

4) Владимир Владимирович Дмитриев (1900-1948), известный театральный художник.

5) Сергей Эрнестович Радлов (1892-1958), режиссер и друг Прокофьева. Позднее был его соавтором при создании либретто балета "Ромео и Джульетта".

11 февраля

1) Она училась вместе с Прокофьевым в Петербургской консерватории в 1904-9 г.г. Позднее написала воспоминания о нем.

12 февраля

1) Максимилиан Осевич Штейнберг (1883-1946), композитор, зять Римского-Корсакова.

2) Юлия Лазаревна Вейсберг (1878-1942), в 1915-17 г.г. принимала участие в издании журнала "Музыкальный Современник", когда среди редакции произошел раскол.

3) Андрей Николаевич Римский-Корсаков (1878-1940), музыковед, сын композитора.

4) Арфистка, соученица Прокофьева по консерватории.

5) Михаил Кузьмин (1875-1936), известный поэт.

13 февраля

1) Надежда Евсеевна Добычина (1885-1950), до революции руководила Художественным бюро, в котором выставяляла художников-авангардистов и где в 1917 году Прокофьев исполнял свои произведения.

15 февраля

1) Так не могло длиться слишком долго. В 1938 году Театр Мейерхоolda был распущен, а в 1939 году сам Мейерхоoldt после бескомпромиссного выступления был арестован и в 1940 году расстрелян.

2) Камерный балет "Трапез" для пяти инструментов был заказан ему хореографом Борисом Романовым (1891-1957), во Франции, и музыка к нему была позднее использована Прокофьевым для Квинтета и для Дивертисмента.

3) Опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом Граде Китеже".

4) Актриса Ц.Л. Мансурова.

18 февраля

1) Прокофьева написал оперу "Огненный Ангел" по мотивам романа Брюсова.

20 февраля

1) Мария Григорьевна Кильшет (1961-?), писательница, с которой Прокофьев в возрасте 13 лет работал над оперой "Ундина".

2) Гавриил Николаевич Попов (1904-1972), композитор, ученик Щербачева.

3) Мария Веняминовна Юдина (1889-1970), известная пианистка.

4) 25 градусов по Цельсию.

21 февраля

1) Опера Прокофьева, сочиненная им в возрасте восьми лет.

22 февраля

1) Опера Римского-Корсакова.

2) Юрий Александрович Шапорин (1887-1966), композитор.

24 февраля

1) Борис Николаевич Демчинский (1877-1942), писатель, помогавший Прокофьеву при создании либретто для опер "Игрок" и "Огненный Ангел".

25 февраля

1) Николай Карлович Метнер (1879-1951), известный композитор и пианист неоромантического направления, живший с 1921 года в эмиграции.

28 февраля

1) Ида Рубинштейн (1885-1960), бывшая танцовщица компании Дягилева, организовавшая свою балетную труппу.

2) Вячеслав Иванович Сук (1861-1933), дирижер чешского происхождения.

1 марта

1) Екатерина Павловна Пешкова (1876-1965), согласно информации, данной Музеем Горького в Москве, была первой и единственной женой Горького.

2 марта

1) Александр Федорович Гедике (1877-1957), композитор, органист.

3 марта

- 1) Анатолий Андреевич Брандуков (1856-1930), виолончелист, был учеником Чайковского (муз. теория), играл с ним, а также с Листом и Рахманиновым. Жил в Париже с 1878 до 1905 года.
- 2) Литвиновы занимали несколько комнат в особняке, в котором с 1930 года помещается посольство Великобритании.

4 марта

- 1) Дмитрий Михайлович Цыганов (род. 1903 г.), видный скрипач, основавший в 1923 г. квартет им. Бетховена.
- 2) Борис Николаевич Самойленко был близким другом Прокофьевых во Франции.
- 3) Постановка этой пьесы А.К.Толстого во МХАТе считалась одной из лучших.

5 марта

- 1) Зинаида Райх (1901-1939), актриса. После ареста Мейерхольда была убита у себя дома при таинственных обстоятельствах.
- 2) Опера Римского-Корсакова.

6 марта

- 1) Сергей Петрович Ширинский (1903-1974), виолончелист, играл в квартете им. Бетховена.
- 2) Сергей Александрович Кусевитский (1876-1951), выдающийся дирижер, был во главе Бостонского Симфонического оркестра с 1924 по 1949 г. Он исполнял впервые целый ряд произведений Прокофьева, среди них Вторую симфонию, которая была ему посвящена, и Четвертую, написанную по его заказу.

7 марта

- 1) Михаил Осипович Штейман (1889-1949), учился вместе с Прокофьевым в дирижерском классе Петербургской консерватории у Николая Черепнина.
- 2) И.М.Лапицкий (1876-1944), известный украинский оперный режиссер.
- 3) Дочь доктора А.Реберга, бывшего соседом и другом родителей Прокофьева на Украине. Прокофьев поддерживал дружеские отношения с нею и двумя ее сестрами в годы своей юности, когда возвращался в Сонцовку на каникулы.

8 марта

- 1) Нелегальная копия или публикация уже изданного произведения.

10 марта

- 1) В.Лятошинский (1894-1968), украинский композитор, ученик Глиэра.
- 2) Ян Кубелик (1880-1940), известный чешский скрипач и композитор.

16 марта

- 1) Сестра музыкального секретаря Прокофьева, Георгия Горчакова.
- 2) Григорий Арнольдович Столяров (1892-1963), дирижер.

17 марта

- 1) Андрес Сеговия (1893-1989), известный испанский гитарист.

20 марта

- 1) Алексей Иванович Рыков (1881-1938) в 1938 году после показательного процесса был расстрелян.
- 2) Феликс Михайлович Блюменфельд (1863-1931), видный пианист, композитор, дирижер и педагог, ученик Н. Римского-Корсакова.
- 3) Получается, что Прокофьев познакомил Надю с Мейерхольдом два раза (первый раз на концерте 6 марта). Неизвестно, какая дата из них верная.
- 4) "Принцесса Турандот", комедия Карло Гоцци (1720-1806), последняя постановка Е.В. Вахтангова, пользовалась огромным успехом.
- 5) Фридрих Вюрер (1906-?), австрийский пианист.

22 марта

- 1) Нужно сказать, что если Цуккер и не пытался помочь в этом деле, то даже те, кто обещали Прокофьеву что-нибудь сделать, а именно Пешкова и Мейерхольд, ничего в конечном счете не добились. Двоюродный брат Прокофьева, Александр Раевский (Шурик), был освобожден лишь в 1931 году, т.е. по окончании своего срока. В 1941 году он был вновь арестован и умер в следующем году. Надя, его жена, была отправлена с 1929 по 1934 год в лагерь, на строительство Беломорско-Балтийского канала.
- 2) Это, по всей вероятности, одна из записных книжек Прокофьева, хранящихся в спецхране ЦГАЛИ (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства).

23 марта

- 1) Боровский был среди тех, кто в январе провожал Прокофьева из Парижа в Москву.
- 2) В своем письме, написанном через год Прокофьеву в Париж, Цейтлин сообщает: "В Персимфансе Цуккер, благодаря своему "симпатичному" характеру, переругался почти со всеми членами Правления и мы с ним расстались. Надеемся, что без него будет гораздо лучше".
- 3) Нина Павловна Кошиц (1894-1965), оперная и камерная певица, эмигрировавшая в 1920 году. Дружила с Прокофьевым и исполняла много музыки Прокофьева в США, в том числе и "Пять песен без слов", которые были ей посвящены.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Прокофьев.</i> Предисловие	5
ДНЕВНИК-27	11
Примечания	170